

Александр Аннин

Бабушка

Посвящается моему самому любимому человеку — жене Свете, а также моей покойной бабушке Ольге Николаевне Рязановой и всем бабушкам и внукам бывшего СССР.

Часть первая

«КУРЛЫ-МУРЛЫ»

1

Дождливым летом памятного тысяча девятьсот семидесятого года тетя Рая завела поросю. Вообще-то у бабушкиной соседки и без поросю печалей хватало: то куры лишай подхватят, то нападет на картошку жук колорадский, а не то так верзилы «бознать-какие» сирень у ворот обломают для своих зазноб... Тетя Рая сильно из-за всего этого переживала.

С тетей Раей жил дядя Витя, тощий и сутулый, словно согнутый ржавый гвоздь, мужичок с вечно бурым лицом, до нутра проеденный кислым

духом «Беломора» и ароматными конскими запахами. Он всегда ходил в довоенном пиджачке, нестиранной с тех же времен кепке и был равнодушен к затеям жены. Гундосил с безмятежной отрешенностью:

— Дура ты, Райка, жадная дура... Ишь, удумала — поросенок! Мотри, бить тебя будут! И меня с тобой заодно.

Я, дошколенок, то и дело слышал этот глухой бубнеж дяди Вити, доносившийся из-за жиденького, но, все-таки, сплошного забора между бабушкиным и тети Раиным «передними» дворами. Были в этой загородке из хлипкого и разновеликого горбыля дырочки от выпавших сучков, и я тайком, когда никто не видел, высматривал в этот глазок поросенка. Вот же, вот промелькнуло что-то серое, шумно дышащее... Он, что ли, поросенок? Я долго боялся спросить у бабушки, потому что она строго-настрого не велела мне подглядывать за чужими. Но не утерпел, спросил:

— Бабушка, а поросенок розовым вроде ведь должен быть?

Бабушка всегда сердилась, когда я приставал к ней с поросенком, уж больно не нравилась ей тети Раина затея:

— Вроде Вася, а на деле-то Семен. Это в книжках твоих на картинках поросенок розовый да мытый с мылом, а на самом деле они все чубарые.

— Как мазепа?

— Как мазепа, Сашуля, как мазепа.

— Значит, его черти будут жарить?

— Нет, Сашуля, черти одних только людей жарят. А поросенок — безгрешная душа, он ничего не понимает.

И — доверительно, вполголоса объясняла:

— Его не черти, а Райка будет жарить да парить. Вот интересно: даст Райка сальца? Аль буженинки? Ах ты, Райка, ну и Райка...

А тетя Рая, гляди-ка, слышала про мазепу-то, как раз возле забора ковырялась, кричит:

— Не трынди, Оля, у меня поросенок *щистый*. Приходите с Санькой смотреть!

Еще до порося тетя Рая ославилась на наш квартал тем, что стала держать у себя на дворе кур, во всей округе никто больше не хотел с ними возиться. Накладно, хлопотно. Пшено им дай, комбикорм, не говоря уж о всех прочих тяготах: летом свежей травки этим клушам вынь да положь — наруби, сарайку зимой обогрей. Денег у окрестных жителей в любую пору было в обрез, только-только на самые первостатейные нужды. Какие уж тут куры... Бабе в одиночку и без них — умаешься, инда дых вон, что ни день — без задних ног. А на мужика, знамо дело, надёжа — как на ёжа.

Пропить полполучки было для мужиков столь же обязательно и всенепременно, как эту самую

получку получить. И никто на это их веками освященное право не посягал — просто потому, что это никому не приходило в голову. «Так уж заведено искони, а раз не нами положено, не нам и отменять», — с умудренным видом вздыхали бабенки. Ругать-то они мужей ругали, порой так ругали, что на весь квартал слышно было, да только никто это за какое-то узорочье¹ не держал: «Подумаешь, чихвостит жена, эка невидаль! Тоже мне, узорочье, она всегда ругает, без разницы, за что». Да и разве ж это можно, жить-то без ругани? Какая ж это семья, если не скандалят? Иной раз прислушивались, дивились: что-то больно долго тихо у «молодых», знать, дуются друг на друга, разойдутся скоро... Нынче ведь не то, что раньше, сейчас чуть чего — развод. А коли уж лаются — значит, крепко живут, еще лет сорок лаяться будут.

Соседка справа, тетя Марина, мало того что срамила да чихвостила, так еще и лупцевала дядю Мишу вплоть до красных соплей, ну и что с того? Дядя Миша неизменно отшучивался, что-то вроде: «За водку меня бьют в глотку, а за пиво — в рыло». А там, глядь — и тетя Марина начинает смеяться вместе с ним, ласково треплет его буйную,

¹ Узорочье — невидаль; ср. — «узарочье» — зарок, обязателька.

вихрастую голову.

Для тети Раи Лактионовой каждодневное дядь Витино «употребление» прореху в кошельке не высверливало. Ну, так разве что, самую малость. Дядя Витя, не чета другим мужикам, пил свое, не покупное. Потому что тетя Рая, опять-таки — одна-единственная во всем нашем ква ртале и даже тех, что к нему прилегали, гнала самогонку. И все об этом знали, включая угрюмого, мордатого участкового, дядю Славу. Говорили про Лактионику в бессильной, едкой досаде, будто бы она по пятницам выдает блюстителю нашему аж целый литр отборного первача. И еще — огурцов с огорода на закусь. Потому теперь он с тетей Раей «вась-вась». А остальным, значит, гляди на ее счастье, сноси обиду молча, ведь пожаловаться-то некому, коли «у Райки вся милиция в кармане». Почему в кармане, как это так? Я поглядывал на широкий, набитый всякой хозяйственной всячиной карман поперек цветастого передника тети Раи, и все думал: опять взрослые врут или это я чего-то не понимаю?

— Я ее, самогонку эту, не пью, мне што? — выговаривала бабушка окрестным мужикам возле «бассейны». — Мне вас, дураков, жалко. Зачем вы у Райки самогонку покупаете? Она же в нее куриный помет добавляет, сдабривает да размешивает, а вы и верите, что самогонка у нее

крепкая!

И передразнивала неведомо кого:

— «У-у-х, какая ядреная самогонка у Райки-то, крепче магазинной водки!» А это помет куриный вам рот обжигает. Нету там никакой крепости. Мне Райка сама говорила.

Мужики вздыхали, чесали в затылке — мол, оно конечно, обманывает Райка, знамо дело — куркулиха. Так ведь и в магазине обманывают, не так, что ли? Нету в водке сорока градусов, давно уж... А райкин самогон худо-бедно «забирает», вот и хорошо. И дешевле он.

Тетя Рая каким-то образом узнавала про эту бабушкину агитацию, даже говорила иной раз:

— Ты вот, Оля, отваживаешь мужиков ко мне за самогонкой ходить, а они все равно ко мне идут. Чего ты об алкашах беспокоисси, им все равно, что пить, им лишь бы жгло, они и йоду выпьют, и одеколону, *еслиф* приспичит.

Но не особо-то куксилась на бабушку тетя Рая, не шибко серчала. Понимала, что самогонку гнать стыдно, а пить — не стыдно, и агитировать против самогонки — тоже не зазорно. Она свыклась с постоянным чувством вины перед соседями, притерпелась к тому, что ее не любят, причем не любят правильно, поделом.

И к ожиданию бед и напастей попривыкла тетя Рая. Все-таки боязно было ей гнать самогонку

— мало ли что, а ну как скажут участковому привлечь ее, начальство есть начальство. Вдруг для отчетности какой-нибудь понадобится посадить самогонщицу. И посадят.

Что говорить, не больно-то весело жить с такими мыслями. Да и угорала она от сивушных паров, жалилась бабушке на боли и жар в голове, на давление в крови.

Но зато свои шестьдесят рублей получки дядя Витя выдавал тете Рае исправно и сполна — за вычетом упаковки «Беломора». Он караулил вечно грустных лошадок в соседней с нами хозчасти. Там было с дюжину, а то и больше, рабочих кобыл, да парочка жеребцов или меринов — я не знал тогда про их отличия. Эта городская тягловая сила содержалась в дореволюционных еще стойлах, почерневших от времени и сырости. Все лошади, как одна — гнедые, молчаливые, ни разуку не слышал я конского ржанья со стороны хозчасти.

Появилась как-то единственная белая кобылка с грязно-серыми пятнами, ее называли чубарой. И меня бабушка называла чубарым, а не чумазым, когда я, бывало, приду домой, *извазюканный* в лужах и — золой от костра *изгвазданный*.

— А ноги-то, ноги! — причитала бабушка, стаскивая с моих голых стоп разбухшие сандалии. — Собаки жрать не станут. *Как мазена!*

Я не спрашивал, что значит «мазена», для

меня было ясно, что это измазанный человек, «мазюля», а бабушка к тому же страшила, что, мол, самых отъявленных мазеп, которые — оторви да брось, черти в аду коптят всем скопом, и потому они там ходят все в саже². Я легко мог представить, как смешно выглядит в аду измазанный сажей человек, ведь в холода, по утрам, сажей были измазаны бабушкины руки и даже лицо, она тоже становилась мазепой — после того, как, дождавшись, пока в печной утробе наконец-то погаснут «синенькие огоньки», закроем заслонку и вынесет во двор дымную головню, а потом выгребет золу в негодное ведро без ручки.

Мне всегда было очень жалко бабушку, порой даже до злости жалко, до отчаянья. Бывало, вывалится из печного хайла большой, переливающийся глубоким, жарким светом уголек, так бабушка — хватить его пальцами, да и — швырь обратно в топку. А ведь рядом совок железный, ну что бы не совком-то подхватить, а? Иной раз не рассчитает бабушка, попридержит уголь в руке чуть дольше, потом плюет на обожженные пальцы,

² Гетман Иван Мазепа после измены царю Петру I был предан анафеме, и с тех пор его имя в народе стало нарицательным, означавшим «черный», «грязный», «испачканный» человек.

приговаривает:

— Ох, горит как, о-хо-хо...

Я прямо-таки захожусь в недетской ярости:

— Зачем, бабушка? Зачем рукой?

Бабушка поднимает глаза к иконе Николая Угодника, быстро-быстро смаргивает слезы покорности, говорит свое надтреснутое: «Ладно, аук!»

Золу бабушка высыпала на заснеженные грядки, и было у нас в огороде из-за этого некрасиво, становился он чубарым, как белая лошадь, покрытая серыми пятнами. Только вот лошадь была красивой, а наш огород посреди зимы — нет, совсем даже некрасивым.

Дядя Витя, конский сторож, был человеком важным для нас, пацанов с «Курлы-Мурлы», ведь иногда он подменял «закурившего», то есть свалившегося в лежачий запой, возницу и мог после долгого канюченья и нудных приставаний немного прокатить пару-тройку мальчишек на порожней телеге, когда выезжал из хозчасти на пивзавод или за флягами с молоком. Развозил потом пиво и молоко по магазинам. Кажется, раньше дядя Витя сам был возницей, кто-то слышал, как он разговаривал об этом с лошадьми.

А если везли на телеге хлеб с хлебокомбината, то мы могли наблюдать, как за спиной возницы высится штабель деревянных лотков, и лошадь

поминутно оглядывается, раздувает ноздри, вбирая нутром своим самый вкусный на свете запах — свежих батонов и булок.

Вообще, дядя Витя был нужным и полезным для всего нашего квартала: в хозчасти он мог разжиться опилками или даже мешком крупной, желтоватой лошадиной соли с черными проплешинами грязи. В магазине она все-таки стоила четыре копейки за кило, что, в общем, по карману, однако ж все соседи с удовольствием брали эту соль «за так» у дяди Вити. И спасибо ему говорили.

Самогонку тетя Рая выдавала мужичку своему строго по норме, и дядя Витя, посасывая погасшую папироску, «жалился» мужикам на *скавредность* жены, говорил беззлобно своим придушенным, зажеванным каким-то голосом:

— Вот ведь Райка скавредная! Налила, как украла!

Он всегда маялся от нехватки живительного продукта в организме и нет-нет да и ухитрялся напиться «впрок», то бишь в долг. И чтобы, не дай Бог, дядя Витя не начал тырить чего-нито в хозчасти, дабы расплатиться с благодетелем (а это уметь надо, тырить-то, а бесхитростный дядя Витя не умел), так вот, тетя Рая «на квит» отдавала его долги тем же самогоном. А самогон-то, как ни крути, все же денег стоит: сахар, дрожжи, то да

се... Хотя и дешево, да стоит.

Эти сетования — «сахар, дрожжи, то да се, а еще тому дай, энтому», — я с малых лет привык слышать от тети Раи.

Лактионихе недобро и хмуро завидовали, но сами гнать самогон чурались: *страмотно*, да и «посодют».

2

Явление поросенка всячески обсуждалось на нашей улице Карла Маркса, которую как-то само собой повелось называть «Курлы-Мурлы» (где живешь? — на Курлы-Мурлы). Хотя до центра Егорьевска и рукой подать, но улица уже считалась задней, по виду — так чуть ли не деревенской: бревенчатые избы с торчащими на серой шиферной кровле, словно проклюнувшиеся подосиновики, печными трубами; чугунные колонки-бассейны по обочине, одна — прямо у бабушки напротив окон. И, чего уж там, люди жили тут почти по-деревенски, с неторопливым обсуждением погоды и народных примет («сходится — не сходится»), с голосистыми собаками на цепях гремучих, с вальяжными котами на боковых столбах прадедовских ворот.

Но, деревня деревней, а все же никто на Курлы-Мурлы, кроме тети Раи, не додумался бы

взаправду завести скотину! Одни только разговоры — дескать, «а вот бы» да «хорошо бы». Птицу здесь не держали с тридцатых годов — как извели всех курей в войну, так по новой уже и не обзаводились. Заведешь, так враз прозовут куркулем. Один вдовый мужик по фамилии Хренов, что жил у церкви, завел было курей, да не угостил соседей ни яичками свеженькими, ни потрошками курьими. Не уважил. Куркуль, нечего и знаться с таким. И перестали не только что ходить к нему, но и здороваться даже, с праздниками поздравлять. Так и сидел в своей избе один-одинешенек, *как таракан в щели*, со своими курами, нос на улицу не казал, пока не помер. Видать, от жадности.

Еще один Хренов жил на нашей стороне, в конце квартала, это был совсем древний старик, и часто его так и называли — «старый хрен». И однажды наладился он разводить цветы в теплице, которую называл мудреным словом «оранжерея». К восьмому марта у «старого хрена» обильно всходили тюльпанчики... Дедок идти на базар и продавать свои цветы боялся — вдруг привлекут, мало ли что? А потому и выгода его была не ахти какая — только если прямо на дом к нему приходили за цветами, из тех, кто знал про оранжерею, а знали про нее немногие. Остальное у него пропадало, и Хренова считали отъявленным, законченным скупердяем — дескать, ни себе, ни

людям.

Мы, пацаны, боялись и не любили этого тощего и медлительного старика, называли его промеж собой колдуном.

Кроме этих однофамильцев (а может, и родственников?) Хреновых, один из которых, чуть помоложе — слева напротив бабушки, а другой, старый «колдун» — справа, на нашей стороне квартала, через четыре дома и хозчасть, так вот, кроме них двоих, больше никто во всей Курлы-Мурлы не хотел для себя такой участи — чтоб тебя потом поминали как единоличника и куркуля. Да и Хреновы эти, кабы знали наперед, кем прослынут у языкатых соседей, не стали бы связываться с курами и тюльпанами. Жили бы как все. И теперь, вспомнив про них, отщепенцев, другие подумают-подумают, да и махнут рукой... Бог с ними, с цветами диковинными, птицей домашней, кроликами — без них жили, без них и дальше проживем. Не надо нам такого счастья! Ведь никому потом ничего не объяснишь и не докажешь, только чужаком станешь в одночасье.

Или — отдавай соседям ненасытным труды свои. Всяк, живущий в нашем квартале, почитает себя в праве на угощение. Тут ведь как? Все одно выходит. Пожмешься, не поднесешь свеженьких яичек — себе дороже станет, отвернутся от тебя люди, от куркуля-единоличника. А если кого-то

угостишь, а другого обнесешь — так этот другой на тебя такую обиду затаит, такую... У-ух! Все припомнит, как сто лет назад его прадед выручил твоего пра-пра-деда. И опять же получается, что обладатель домашней скотины ли, птицы, оранжереи — человек скупой и зловредный. Что так, что этак — куркуль, да самый что ни на есть натуральный, без подмеса.

Для моего детского слуха эти слова были сродни друг другу: держишь кур — значит, ты куркуль.

Слыхали у нас, что кто-то где-то «на задах» развел кроликов и даже *мо трий* — так величали на Курлы-Мурлы нутрий. Дивились. А знал народ, что есть такой зверек — мотрия, потому что *мотриевые* шапки всегда горкой лежали на базаре, деревенские скорняки их привозили, и никто их не покупал, потому что — светлые больно, маркие, «не как у людей», ведь люди-то в Егорьевске зимой, не сговариваясь, поголовно одевались в серые да черные тона. Так и говорили про людей простых — «черный люд». Наденешь яркое что-нибудь, скажут: ишь, вырядился, форсит! И дорого к тому же: сорок рублей отдай за шапку мотриевую, когда кроликовая — двадцать пять, а то и за двадцать сторговать можно.

Толковали, что *мотрии* очень даже ничего на вкус, если пожарить-потушить с луком да

морковкой. Навроде кур или свинины паровой. Может быть, может быть... Мы, как говорится, не пробовали. Но ливерная колбаса по полтиннику за кило, в общем-то, не хуже. А главное — вот она, туточки, почти всегда есть в магазине, и денег хоть на сколько-нисколько, хоть на полкруга (или «полкоте лки»), всегда наберешь. Если не всё пропил, конечно.

Бабушка жарила на керогазе эту колбасу-неколбасу вперемешку с макаронами из серой муки, их просто так есть было невкусно — кислые, клейкие. А ливерная колбаска таяла, превращалась на сковороде в крупчатое месиво, в котором сами собой обваливались макароны. И получалось — ничего себе, довольно вкусно, «сойдет с горчишкой», как говорили в Егорьевске. А если еще и с зажарками — так вообще всю сковородку съесть можно. Это бурое месиво приятно жгло и пощипывало язык, потому что на заводе не скупилась класть перец в чан с «неизвестно чем», однако ж носящим гордое название «ливвер».

— Ешь, Сашуля, до сти, — говорила бабушка, что означало — «ешь до сытости». — Не оставляй свою силу в тарелке. Расти большой, не будь лапшой, а будь как Дядя Сарай!

«Дядей Сараем» в Егорьевске тех лет называли любого увальня-верзилу.

И я был доволен и сыт, и все вокруг тоже были сыты и довольны.

3

Но тетя Рая к разговорам о живности всякой втихомолку прислушивалась да призадумывалась. «Вот ведь все время ее что-то свербит изнутри, неумную», — говорила бабушка «с сердцем», то есть — в сердцах.

И, помнится, нутрии таки появились у соседки на короткое время, тетя Рая наладилась выделывать шкурки «квасцами всякими», и я, слушая, как она жалуется бабушке — мол, руки сильно обожгла этими квасцами, — недоумевал: как может обжигать руки чудесный, прохладный квас, который наливает всем из большой желтой бочки в ребристые кружки румяная, оплывающая *по* том бабуля в замызганном белом переднике?

Но что-то потом у тети Раи с «*мо* триями» не заладилось. То малыши подохнут, то большие зверьки заболеют, и не успеют они *окриять*, то есть поправиться, как другая напасть случится... Один раз эти злобные мотрии сильно покусали тети Раины руки.

Добило затею с нутриями забавное для всех, кроме самой тети Раи, происшествие: однажды украли у нее ночью двух самых жирных самок,

перелезли через низенький, в полтора человеческих роста, дощатый забор между нашими высоченными воротами — бабушкиными и тети Раиными. А на другой день, сдуру да спьяну, ей же и принесли в мешке убитых и окровавленных зверьков — менять на самогон. Она прогнала прохиндеев, пригрозила милицией... Ну прям, конечно, так и пойдет она в милицию жаловаться, единоличница да самогонщица! В общем, смех один.

Над тетей Раей потом еще долго подхихикивали — налетела, мол, куркулиха со своими *мотриями* на копеечку!

И сквозила во всем этом *нелюбовь*. Даже не к тете Рае, а — так, вообще...

Не появился бы на Курлы-Мурлы поросенок, если перед этим не устроилась бы тетя Рая уборщицей в заводскую столовую. День она терпела, другой терпела и не вытерпела: ну разве ж можно спокойно смотреть на то, как ежедневно, каждый божий вечер, просевший узик болотного цвета, прозванный в народе «буханкой», увозит в подсобное заводское хозяйство по несколько объемистых баков с объедками? За раз, подумать только! А разводили в том хозяйстве свиней. Все это вкупе и навело тетю Раю на простую идею: «Дак почему бы и мне поросенка не откормить?» Действительно, почему бы и не откормить. Надо же куда-то девать выручку от самогона, а это, если

после девяти вечера — трешница за поллитру, вот и посчитай, не хухры-мухры! В общем, на покупку трехмесячного подсвинка у тети Раи хватило с лихвой.

— Было бы *щем* кормить, Оля, — говорила тетя Рая моей бабушке. — Еслиф есть какая-никакая хряпа, да на всякий день, то грех поросенка не держать. Это ж не птиса, ему пшениса да крупа не нужны, он все сожрет.

Тетя Рая так и произносила на своем родном говоре — «*щем*» вместо «чем», «*щистый*», а не «чистый», «*еслиф* », «*птиса* », «надо за все Богумолиса »... Например, скажет бывало в сердцах:

— Хорошо было, когда я вольная *деви са* была, а не замужем за этим обормотом.

И я никак не мог поверить, что «обормот» — это про доброго дядю Витю, потому что бабушка называла так лактионовского кота — «кот-обормот».

Бабушка в ответ на все эти причитания по поводу хряпы и обременительного замужества лишь поджимала губы, качала головой безо всякого сочувствия. Весь вид ее говорил: ай да Райка, ай да *про* йда! Когда тетя Рая уходила, поняв, что бабушка не настроена ей поддакивать, бабушка снова и снова принималась вслух решать вопрос: «Даст Райка хоть буженинки, когда порося придет

пора забивать? Или как Хренов, куркуль *недокулаченный*, даже яичек своих не принес, единоличник!»

Квартал наш был длиннющий, аж девять домов по Карла Маркса, да из них целых два дома, бревенчатых, почерневших от времени, были двухэтажными, на несколько семей, да тети Раин высоченный домина с полуподвалом. Остальные — крытые шифером, как у бабушки, или крашеным кровельным железом одноэтажные избы. Один приземистый старинный дом на дальнем краю квартала был кирпичный, беленый. Еще, удлиняя квартал, зияли на нашей стороне дороги три или четыре прогала на месте сгоревших изб, или — «растощенных» по бревнышку, чьи хозяева поумирали. В одном из этих прогалов, между бревенчатыми двухэтажными домами, за кряжистой ветлой таился дивный мирок заброшенной детской площадки: поросшие высоченной травой и сиренью ржавые качели, подгнивший столб с цепью для «гигантских шагов» и разноцветная, облупившаяся полукруглая лестница-радуга...

Ну и, конечно, хозчасть, которая своим провалом вклинилась посреди квартала.

Бабушка одна среди всех соседей поддерживала хоть какую-то видимость незлобных, независтных отношений с тетей Раей (дядя Витя — отдельная статья, его жалели и потому — любили

все в округе). «Как-никак, столько лет уж через забор живем, а там, глядишь, мало ли чего вдруг понадобится», — говорила бабушка со значением.

Бывало, бабушка кличет меня: «Саша, иди дрова пилить, тетя Рая нам бревнышко подкинула!» И, когда я нехотя выходил к колченогим козлам во дворе, уже тихим голосом бормотала, разглядывая худенький, кривой ствол: «С гнильцой Райка отдала, знамо дело, но все — давай сюда, а вроде даже это дубок, от него жар знаешь какой будет?»

Двуручной прадедовой пилой, с кое-как набитой на струганные колышки перекладиной, бабушка «намазурилась» пилить в одиночку, привыкла уж, а я подбирал поленья, вдыхал древесный дух свежего спила и складывал дровишки в рядок. А она все пилила без устали, ворча при этом, что она — «семижильная». На мясистом, пористом носу бабушки то и дело выступала крупная капля пота, и бабушка отирала его подолом.

Помню бабушкины руки, с шишковатыми пальцами, почерневшими от въевшейся печной гари. Эти пальцы, захряснувшие, кривые, словно обрубленные корни выкорчеванного старого пня, пропахли серным дымом от спичек. Порой этих спичек, длинных и толстых, ей приходилось извести с десятков, прежде чем какая-то загорится:

сера крошилась об чиркалек, так и не вспыхнув.

— Вот ведь спички стахановские! — причитала бабушка.

— А что такое — стахановские? — спрашивал я.

— Это значит — кое-как сделали, скорей-скорей, всё бегом, по-стахановски, — отвечала бабушка. — В общем, отвяжись, худая жисть. А вот раньше-то...

Когда — раньше? При царе, что ли? Да ведь при царе и спичек-то, поди, не было — так мне казалось почему-то.

Сейчас, косо, по неровному кругу, напилив «дубок», бабушка кричала через забор с надеждой:

— Рая, есть еще чего-нито бросовое, на дрова?

— Хватит пока что с тебя! — отзывалась тетя

Рая.

У тети Раи был газ, вода и все такое прочее, дрова ей были ни к чему, и бабушка тихо негодовала, почему это Райка не отдаст ей на распил все доски и бревна, что были сложены горкой в ее дворе, по ту сторону общего забора. «Ждет, когда сгниют от дождей, тогда и отдаст», — обреченно сетовала бабушка.

И добавляла голосом, скрипучим от сладкой, горючей слезы:

— Ладно, ау к!

Что такое это самое «аук», я долго не

понимал, а потом решил, что, наверное, так в старину люди высказывали пожелание, чтобы кому-то «аукнулись» его недобрые дела.

И, конечно, бабушка искренне полагала, что скотиной и птицей соседка занимается от неугомонности своей, от суеты, да еще — от жадности непомерной, ведь жить с газом, теплом, водой и канализацией, по бабушкиным понятиям, это... ну, почти что как в раю, а там, в раю-то, знамо дело, не работают и о хлебе насущном не беспокоятся, там всем пенсии небесной хватает на все про все.

Зачем в раю поросенок?

Бабушка, видно, так и представляла себе, что рай — это пенсия после жизни, и очень хотела поскорей на эту пенсию.

А пока что...

«С соседом надо жить в мире, Санёга, а где живешь, там не ругайся, — подытоживала бабушка с рассудительностью, после того как длинно помянет тетю Раю хлестким словцом. — Какой он ни есть, а он сосед, запомни это, Саша».

Тете Рае рассуждать подобным образом не приходилось, потому что других соседей, кроме бабушки, у нее просто-напросто не было. Сразу за тети Раиными обширными угодьями начинался колдобистый, поросший матерым бурьяном пустырь, где еще недавно стоял бревенчатый

двухэтажный дом-коммуналка, на несколько семей, его наконец расселили, а дом за минувшую зиму растащили. Играть там было небезопасно, а пожалуй что даже и очень опасно, кто-то из малышей, помнится, провалился в заваленный подпол, сломал или вывихнул ногу, но нас влекла туда неодолимая сила по имени Романтика. И порой мы находили в этих колдобинах то закопченный чугунок, то гнутую ложку, то куклу сломанную — на дымовушку пойдет, славная пластмасса у этих кукол — подожги, задуй бешено шипящее пламя, и такой дым поганый и удушливый по всей улице поползет, что хоть на край города, хоть в Заболотье, беги.

— Вы тут опять дым поганый развели! — голосит, бывало, тетя Даша Беденко, округлая, дородная медсестра на пенсии, чья изба справа через дом от бабушки.

А слева, за пустырем заросшим, через дорогу проезжую — особое, запретное для игр место: обнесенный щелястым бетонным забором церковный садик с яблонями, грушами и липами, над ним высится бело-зеленая громада Александра Невского, купола и кресты золотые, над ними галдят и вьются галки, да сесть не могут — кресты утыканы поверху острыми пиками, их видно, если присмотреться хорошенько, когда солнышко не слепит глаза.

Прямо на дорогу смотрит с высоты, со стены церкви, из ниши беленой, сам князь Александр Невский — он изображен в полный рост цветными красками на железном (а может, медном?) листе. Уж сколько лет на эту икону льют дожди, метет снег, а князю — хоть бы что, все так же ярки его одеяния, все так же сияет его курчавобородый лик! Знали, видать, в старину какой-то секрет, чтобы краски не смывало — так говорили наши мужики.

И до чего ж непривычно стало, пусто как-то, когда однажды утром увидели прохожие, что нет больше иконы той на привычном месте... Знать, ходил кто-то, ходил мимо церкви, глядел-поглядывал на икону, да и взбрело ему в дурную голову забрать себе нашего князя.

— Ишь ты, ведь исхитрился же как-то залезть на стену, мабуть — по лестнице, да ночью, чтоб никто не видел...

— Увидел бы — убил! Точно бы убил. Ну не твое, не ты вешал, зачем берешь?

Такие разговоры какое-то время ходили между мужиками, да стихли понемногу.

4

Теперь-то кормить поросенка у тети Раи было *щем* — и вот именно, что *щем* : столовка щами да хлебными огрызками снабжала щедро и

бесперебойно. По вечерам в конце того лета я глядел в окно, как по улочке Ленинской, что упиралась тупичком прямехонько в бабушкин дом, шла... Не-а, не шла, а перла на нас тетя Рая — квадратная, приземистая, с тяжелой головой на толстой короткой шее и распаренным, светящимся от пота лицом, обрамленным жидкими прядями волос. В каждой руке ее было до краев полное колыхающимися объедками ведро.

— Деньги с *обчета* и хорошие продукты с обвеса — это заведующей, кассирше да поварихам, а уж остатное — это мое, — говорила бабушке тетя Рая. — Два ведра мне дают, с ихних свиней не убудет, а моему поросенку — за глаза хватает, только прокипятить прямо в ведрах.

— А чего его жалеть, газ-то, хоть целый день кипяти, — поджимала губы бабушка. — Хоть так, хоть эдак сорок копеек платишь.

И вот мы идем смотреть поросенка — как нечто в нашем квартале запретное, а значит — таинственное.

Бабушка рада-радешенька своими глазами оценить, какой домик поросенку дядя Витя сколотил, что у подсвинка этого в деревянной разбухшей лохани, да закругляется ли кверху хвостик, аль висит...»*Если* повиснет хвостик, значит, хворает чем-то *по* рось, не *иначе*», — говорила нам тетя Рая, когда мы с бабушкой,

просветленные предвкушением погляда, за который к тому же денег не берут, явились в соседский двор.

Вот и низенький хлевок с небольшим загончиком, огороженным от сада и двора загородкой из железных спинок кроватей. Кровати эти остались тете Рае в наследство от прежних жильцов первого этажа, Лаптевых, аж целых четыре кровати. А это восемь спинок решетчатых, да еще своих было две спинки. В общем, на загончик для поросенка хватило.

В загончике стоит сколоченная дядей Витей из досок лохань, в ней — жиденья хряпа. Хвостик у поросенка задран колечком кверху, он всхрапывает всем своим длинным, худющим тельцем, чавкает чем-то для него вкусным, опустив мордочку в лохань.

Передний двор у тети Раи, где хлевок поросячий, выметен метлой, посыпан опилками — их тоже дядя Витя из хозчасти *«притоскывает»*, кругом ни травинки, *щисто*. За домом клокочут куры. Мне становится жалко бабушку, видно, что ее завидки берут.

— Не утощут поросенка-то, Рая, как мотрий твоих? — заботливо спрашивает бабушка, и теперь наступает черед тете Рае расстроиться, посмурнеть лицом.

— Кобеля заведу, еслиф что, — резко бросает тетя Рая. — Витьке щенка хорошего давали, грят —

волкодав, а он не взял, хоть бы мне сказал, дундук, посоветовался.

— Да волкодаву этому одного мяса не напасешься! — горячится бабушка испуганно.

«Вот только волкодава нам за забором не хватало, еще дыру прогрызет и нас самих передавит!» — скажет она мне уже дома.

— И я про то, — соглашается тете Рая. — Погодить надо с волкодавом. Щас, постойте-ка маленько...

Тетя Рая уходит в дом, а мы с бабушкой разглядываем поросенка.

— Ну как, Саша, хорош подсвиночек?

— Какой-то он маленький, бабушка, и серый.

— Еще будет большой, знаешь, какой вымахает — ого-го! — обещает бабушка.

Я задираю голову вверх, надо мной высоко-высоко распростер свои ветви стройный и сильный тополь. За три квартала его видать, красавца этого. Я уже знаю от бабушки, что сразу же после того, как съехали отсюда Лаптевы, тетя Рая принялась изводить тополь керосином — поливала им корни.

— А как засохнет тополь, она в исполком пойдет, ей там разрешение дадут, чтобы спилить сухостой, — объясняла мне бабушка тети Раину хитрость.

Пока что тополь зеленый, до него, видать, еще

не дошло.

Мы все ждем, хотя смотреть больше не на что. Наконец, по крутящей лестнице спускается со второго своего этажа вниз тетя Рая — они так и остались с дядей Витей в верхних комнатах, а внизу, где Лаптевы раньше жили, теперь заколочено.

— Вот, возьми, Оля, *щая* попьете с Санькой.

И протягивает маленькую («Где только взяла такую?» — будет потом бабушка дивиться) баночку с вишневым вареньем.

— Нонешнего году? — спрашивает бабушка.

— Откудова нонешнего-то, я только на базар три ведра собрала, да отнесла, сегодня-завтра опять собирать буду, а там и варенье начну варить, — отвечает тетя Рая недовольно.

— И я свою владимировку не обобрала, не вызрела еще. Дожди все лето идут. Только-только начало разведривать, когда еще такое было! Через неделю, Бог даст, будем с Сашулькой обирать. А то птицы совсем склюют мою вишню.

И, помедлив, пожевав губами, говорит приготовленное загодя:

— Ты, Рая, когда на базар пойдешь, свою вишню продавать, мою продай, а? Хоть одну корзинку. Трешницу только мне отдай, а уж остальное...

Тете Рае не нравится такой бабушкин заход:

— Не надо мне твоих денег, неси сюда свою корзинку с вишней, а там уж сколько наторгую, все твои тебе отдам. Вы Райку-то за куркулиху держите, а сами на базар иттить не хотите, вам страотно! Вы как будто партийные, блюдете себя, все Райка да Райка вас выручает.

Бабушка благодарит суетливо, тетя Рая, конечно, в ответ — не следоват, мол, раньше времени благодарить, сперва продать надо...

— Как у тебя ее берут только, вишню твою? — бабушка все не унимается, все диву дается. — Она же розовая совсем, кислит. Сока мало. Вот моя владимировка — крупная, сочная, аж черная.

— Твою живьем есть хорошо, а из моей — варенье варить, — отвечает тетя Рая чуть раздраженно. — У меня на базаре ее умные люди на варенье берут. Бывало, подойдут молодые, так сначала нос воротят — невкусная да кислая. А я и растолкую им: вы, мол, из этой вишни косточки легко вынете английской булавкой, и ягодка целенькая останется, не истечет соком. Они подумают, подумают, пошепчутся и берут — кто два кило, кто три. Чтоб за раз на весь год варенья наварить.

— Да, это уметь надо, продать-то, — вздыхает бабушка. — И почем за кило-то, Рая?

Видно, что тете Рае не хочется говорить, за

сколько она вишню продает, но как не сказать? Деваться некуда:

— По трешнице берут...

И смотрит виновато куда-то в сторону.

А я вспоминаю, как в прошлом году мы все — я, папа, мама, бабушка и сестренка Катя, сидели на крыльце и выковыривали из вишенки, из владимировки нашей, скользкие косточки: поддевали их завитком английской булавки. Ягоды брызгали соком, наши лица и руки были все в лиловых пятнах...

И крыжовник колючий обирали, мы с Катей под самый куст на спине подлезали, словно в шалаш сказочный, смотрели снизу вверх, как взрослые хмуро и сосредоточенно рвут свисавшие Мишками крыжовины, похожие на крохотные арбузики. Потом ножницами обстригали у тугих ягодок сочные хвостики и пожухлые коротенькие хоботки. А потом папа, мама и бабушка варили варенье в мятых алюминиевых кастрюлях — бросовых, с отломанными ушками, потому что хорошие да новые кастрюли жалко было портить многочасовой варкой варенья на чадящем керогазе. Мы с Катей вились возле ног у взрослых, ждали пенки... Пенки эти были намного вкуснее варенья, особенно если их есть горячими, пахучими — а то чуть опоздай, и пенки «слеживались», отсыкивая сироп.

Вишневые пенки были самые вкусные, нежно-розовые, а крыжовные — тоже ничего, серо-зеленоватые.

— Вам как — на хлеб намазать или пуговками? — спрашивала мама.

— Божьими коровками, божьими коровками! — захлебывалась Катя от предвкушения.

Я, конечно, выбрал бы лучше «на хлеб намазать», так больше пенок получалось на бутерброде. Но и в «божьих коровках» была своя красота — мама аккуратно капала розовые бугорки на белый хлеб, и, действительно, это было похоже на стайку божьих коровок...

— Я только две-три литровых банки вишневого без косточек варю, — признается бабушка. — А так — прямо с косточками. Только надписать надо, где с косточками, а где без косточек, чтобы потом зубы не сломать. С косточками лучше, а то и впрямь весь сок вытекает, пока их вынешь.

— А не боится *костошек* -то, Оль? — пытливо смотрит тетя Рая из-под своих белесых бровей. — Мотри, помереть от них можно...

Обе вздыхают скорбно, а я уж наперед знаю, что сейчас бабушка и тетя Рая будут вспоминать, уж не в первый раз, недавнюю — а может, давнюю? — историю, которая случилась то ли в

Починках, то ли в Поминове, а, может — в Пожинской... В памяти засело только, что название деревни на «по» начиналось.

В общем, играли там свадьбу, и вся деревня собралась на дворе у невестиных родителей... Помню, сам выбор места проведения той роковой свадьбы — невестин двор — вызывал у бабушки и соседей неодобрение: мол, как же так, деревня вроде старинная, исконная, а туда же — парень в *примаки* к жениной родне пошел, будто в городе, вот беду и накликали. Ничего хорошего не жди, если примаком стал, в общем. У нас на Курлы-Мурлы был один такой, возле Дома пионеров жил с семьей жены, его все так и звали — «Примак», и никто из мужиков с ним водиться не хотел, несмотря на то, что этот дядька очень любил пить водку и вино. Но с ним редко кто «соображал», все сторонились, и он в одиночку пил, потому как — примак. А вот дядю Витю примаком никто не считал, ведь тетя Рая не местная, а он — местный. Имеет право к ней поселиться. Да и жилье-то у «Райки-куркулихи» не родительское, она получила его прямо перед свадьбой, считай, что им обоим и дали.

А на свадьбу в Пожинской (Поминове, Починках?) принесли столы и стулья из соседних домов, простыни заместо скатертей — как обычно. Пили самогонку, водку и вино, все пьяные стали,

кроме молодых, конечно — им не положено, им только на другой день пригубить можно, а то дети неполноценные пойдут.

И тут мать невестина — хлоп себя по лбу, кричит на всю ивановскую:

— Ну как же так, вот ведь склероз, а про настойку-то вишневую, свойскую, я и забыла!

Ну, полезла в подпол за бутылью, несет эту настойку свою: я, грит, специально для свадьбы ее делала. И всех чуть не насильно заставила выпить по рюмке за здоровье жениха и невесты.

В живых остались только дети малые, что под столом да на дворе играли, еще свекор, которого снесли перед тем пьяного вдугаря на сеновал, и невеста, которая все-таки отбрыкалась от маминого угощения.

— А все потому, Оля, что мать невестина свою настойку вместе с *костоцками* настаивала. Вот как отрыгнулись *костоцки* эти вишневые, *синяя кислота* там, оказывается, — приговаривала тетя Рая.

А бабушка хмурилась:

— На все воля Божья...

5

Было что-то такое... неуловимое как для постороннего глаза, так и самих обитателей

квартала, и это «что-то» делало нашу улицу именно городской, а не деревенской. И уж это, конечно, вовсе не бугристая асфальтовая дорога с чугунными колонками по обочинам (мы называли эти колонки «бассейнами»: «Куда идешь?» — «На бассейну»). И не черные от смолы столбы-фонари с косыми подпорками-бревнами, один из которых, «наш», по ночам слепил меня сквозь веки желтым светом.

А было «это самое» тем, что спокон веков именуется рабочим гонором, жилкой городской: мол, мы на заводе да на фабрике вкальваем, а не коровье вымя да кур по сараям щупаем. И чем больше огородный, печной да бассейный уклад жизни обитателей Курлы-Мурлы смахивал по виду своему на колхозный быт, тем упорней жильцы нашего двадцать восьмого квартала выказывали свою городскую спесь, словно отпихиваясь, отрешиваясь от деревенских. «Мы — городские! Нам по полторы тыщи старыми деньгами плотют»...

В то время не отвыкли еще от прежних цен, то и дело сравнивали их с ныне действующими, переводили: «Сто пятьдесят новыми? — это ж полторы тыщи старыми!» А если больше? Ух ты! Выходило ого-го, сколько. Не то, что голь деревенская получает, там пенсия — четвертной на месяц, и то скажи спасибо, да получка — полтинник, если только ты не в передовиках

колхозных числишься... Вот и кормятся подножным кормом да живностью всякой, всю жизнь своих клуш холят да пестуют. А нам кур этих вшивых да скотину капризную держать не надо, мы в помете ковыряться не приучены. Ну, овощи да зелень посадить на огороде, огурцы на закусь, чтоб только земля даром не пропадала — это дело другое, это само собой, это не зазорно.

И несли друг другу на пробу, у кого чего уродилось — лук ли зеленый, редисочку, а то и огурцы переросшие. Огурцов, помню, девать было некуда... Зелень для соседей не жалели, и всегда один у другого мог разжиться то укропом, то петрушкой, а то и свеколкой с морковкой для щей. Хорошо? Еще как хорошо-то!

А уж поросенка взять на откорм... Такой человек определялся молвой в выскочки, про него говорили: «Ишь ты, один стал умнее всех», а умных не любили, потому что умные-то и были на самом деле самыми большими дураками, ведь только дурак пойдет один против всей улицы.

Еще говорили про таких, что, дескать, захотел человек выделиться. Я не понимал тогда, что значит — выделиться? Бабушка растолковывала: «Раньше ведь как было? Все всё делали сообща. Жили в большой избе все вместе — и родители, и дети подростые с мужьями ихними да женами, детки малые... Большущие семьи были, Сашуля, и все в

одно время за стол садились, чинно. Не как сейчас, когда бутерброды на бегу съедают, каждый — когда захотел. Ну и, в общем, надоест, бывало, старшему или среднему сыну под начальством у старика отца ходить, он и говорит: хочу, мол, выделиться! Это значит — отдай мне, отец, мою часть земли, я с женой и детьми отдельный дом построю и там буду сам-сусам, хозяином на всей своей воле! Вот что значит выделиться, Санёга. Что сейчас, что раньше — никогда не хотели молодые со стариками жить, старших слушаться. Вот и живем не по-лю дски».

Деревенские из соседнего Заболотья нас не любили. Может, чуяли, что мы к ним относимся свысока? Наверно. Мы для них были вроде бы и свои, такие же — не в квартирах ведь живем, а в избах без газа и водопровода. А, с другой стороны — жить в городе было, конечно же, проще и веселей. Пацаны из Заболотья время от времени целой ватагой совершали набеги на нашу и соседние, «задние» улицы. Вызывая мальчишек нашего квартала на драку, заболотские орали что есть мочи обидные стишки: «Городская вошь, куда ползешь? Под кровать, навоз хлебать!» Вместо «навоза», понятно, было употребляемо другое слово... И оглушительно щелкали пастушьими кнутами. Нашим мальчишкам выходить из домов и драться с деревенскими было страшно, и пацанов из

Заболотья прогоняли мужики да бабы. Деревенские, цыкая сквозь щербатые зубы, длинно плевали на «асвальт поганый», нехотя и с ленцой убирались восвояси. Я еще застал то время, когда, помнится, говорили исконно-правильно: не восвояси, а «во своя вси», в свою «весь», что по-старинному значит — в село, в деревню к себе.

Иной раз, правда, заболотским удавалось накостылять какому-нибудь зазевавшемуся, не успевшему юркнуть в свою калитку мальчугану с Курлы-Мурлы. Подвернулся им как-то Борька Дашковский, грузный широкомордый увалень, чуть постарше меня, живший в кирпичном беленом доме на краю квартала. Его деревенские побили сильно-сильно. Падая, Борька саданулся головой об угол фундамента, и с тех пор стал умишком слаб, перевели его учиться в седьмую школу, которую все мы называли не иначе, как «шэдэ», школа дураков — она была для умственно отсталых мальчиков и девочек, стояла на Курлы-Мурлы через квартал от нас. Слабоумных детей в Егорьевске было, видимо, очень много, раз уж целую школу большущую, двухэтажную, пришлось для них отвести. Говорили, что слабоумные рождаются из-за какой-то вредной вони на текстильном комбинате... Наши пацаны, которые ходили в нормальную десятую школу, завидовали сверстникам из седьмой: мало того, что их не

сильно спрашивали и совсем не «гоняли» по предметам, так еще вдобавок они вечно стояли на пяточке возле углового входа в здание школы и курили, и ничего им за это никто не делал. А нормальных мальчиков за курево прорабатывали.

...Было, конечно, еще одно, прямо скажем, немаловажное обстоятельство, выделявшее разницу между «задними» егорьевскими улицами и той же деревней Заболотье, что где-то далеко примыкала к избяным городским кварталам. И, пожалуй, оно-то, это самое обстоятельство, было главным в то время: по-над улицей Карла Маркса высились церковные купола Александра Невского — действующей, чудом каким-то устоявшей и не разрушенной церкви, где взаправду шли Божьи службы, где «по-лю дски» отпевали «упокойников»... И шли к нам в церковь со всей округи, хоть на праздник, или — просто помянуть родню, из враждебного Заболотья, из Корниловской, из Ефремовской, из Семеновской да Селиванихи, Бережков и Акатова, где помолиться за здравие и за упокой людям было просто негде. И это куда больше, чем заводская получка в «полторы тыщи старыми», добавляло чванливости обитателям изб на городских задах, осененных высоченной колокольной «Ксан-Невского».

Хотя, впрочем, была еще одна действующая церквушка на окраине, ближе к кладбищу, на

Нечаевской улице, ее так и зовут по сей день — Нечаевская церковь, в честь Алексия, митрополита Московского, который во времена далекие, еще великокняжеские, сделал доброе дело для этих мест — прибрал здешний Гуслицкий край под руку Чудова кремлевского монастыря... Это очень много значило в те века — спасало «от глада и нашествия иноплеменных». Вот и назвали в честь Алексия-митрополита церквушку. Но туда, в Нечаевскую, почти никто не ходил, даже если жил поблизости. Мол, красивая церковь, чего тут говорить, да уж больно маленькая, не шибко громко там старухи-певчие поют, я лучше в большую пойду, в Александра Невского! Там весь город молится, я там знакомых повстречаю, а кого я встречу здесь, на самых-самых задах, на Нечаевской-то?

Неинтересно в церковь идти, если знаешь наперед, что никого не встретишь. И все шли ко всеобщей субботними вечерами в нашу церковь, а по воскресеньям или на какой великий праздник — так утром, к семи да к девяти, на раннюю или позднюю обедню. Обычно отстаивали обе службы — и раннюю, и позднюю, это считалось за правило. А может, люди просто не понимали слов богослужения и не могли разобрать, когда кончается ранняя и начинается поздняя обедня, и выслушивали одни и те же песнопения да ектеньи

по два раза кряду.

Здесь, в Александре Невском, и куличи с яйцами на Пасху святили, или березовые ветви на Троицу, или вербочку на Вербное, мед на Медовый Спас, яблоки — на Преображение, орехи — на Спас Нерукотворный. Отсюда же и в последний путь своих «упокойников» провожали.

Иной раз я слышал от бабушки, когда она, по обычаю, говорила сама с собой: «Чтой-та я Плясуху (Пчелку, Мирониху) сегодня в церкви не видала. Заболела, может? Или померла?» Начинала переживать... И что же? Потом выяснялось, что все так и было: или слегла, или впрямь умерла. Потому что если на своих ногах, то уж в церкви будь всенепременно.

Нормальным считалось, если в церковь ходили и «молодые» — по бабушкиным меркам, таковыми считались все, кто еще не на пенсии. Конечно, «партийные» — дело другое, им в церковь не положено... Это была особая такая, коллективная вера в Бога, в обычаи и традиции. По отдельности-то каждый жил как безбожник, себе на уме, соблюдал свою выгоду, слушался жену да начальство... А вот вместе — тут совсем другое дело, тут, откуда ни возмись, являлся перед честным народом мужик набожный, готовый морду набить за церковь православную или за хулу на священников да храм Божий.

Точно так же и в коммунизм верили разве что коллективно, *артельно*, дескать — само собой, построим мы этот самый коммунизм, обязательно построим когда-нибудь! «Партийные» люди все правильно говорят, а мы их слушаем. А дома у себя враз умнели все, выгадывали, как дожить до полочки, да что бы такое измыслить, чтобы жилось чуток полегче да посытнее.

Тогда, в семидесятом, о людях *партийных* еще говорили и думали, как о каких-то особых, отмеченных некой печатью, в общем — избранных, не таких, как простой народ. «Партийный»... Это слово произносилось с разными интонациями, приличествующими случаю. Иногда — с уважением, иногда — с презрением или злобой, а чаще всего — как-то двусмысленно, с пониманием, что метит человек в начальство, «в президиум». Или — что, мол, его «выдвигают». «Партийные» в представлении тогдашних егорьевцев никоим образом не смешивались с обычными, нормальными людьми, как не смешивались староверы и кацапы.

И если беспартийная выходила за коммуниста, то это означало особый, непростой выбор дальнейшей судьбы, некую совершенно иную жизнь, отличную от обычной. Которая пойдет по другим, не нашим, порядкам, с иным укладом. И смотрели на такую гражданочку с особым

«прищуром». Иной раз, бывало, услышишь, как одна женщина стыдит другую: «У тебя ведь муж — партийный, как же ты так можешь!»

А случаев, когда беспартийный женился на коммунистке, не было вообще. Я не припомню, чтобы такое диво хоть раз обсуждалось у бассейны. Это было все равно, как если какой-нибудь электрик с текстильной фабрики вдруг женится на начальнице своего цеха — нормальной семейной жизни тут быть не может.

6

Баня и кино, да, отчасти, для бабулек, церковь — вот какие были три повседневных утешения той поры (выпивку пока не обсуждаем, она, ясное дело, первой всего, обыденней). В каждом из этих мест было по-своему душевно, тепло и отраднo. И обходилось их посещение совсем недорого — не то, что в кафе пойти или в гости, или хоть бы даже на танцульку: в горсаду за билет на танцы сорок копеечек заплати, а в церкви свечка стоит копейку, кино — гривенник-другой, баня — пятиалтынный. В бане к тому же и выпить можно в чистом теле, в неге да уюте, вспомнить старину городскую в чинных беседах с дедами «остатними», довоенными и даже — дореволюционными. Вот уж где старикам и впрямь был почет, так это в бане! Им наливали

водку и вино, от них ждали рассказов про времена далекие, царские или хотя бы — довоенные. Ну, про те же бани егорьевские, например.

Потом эти разговоры расходились по округе, бабушка пересказывала их мне. Она и сама про бани знала много чего.

— Ты, Сашуля, вот вырастешь, так в Рязанскую-то баню не ходи никогда, не надо, — время от времени наставляла меня бабушка.

Рязанская баня стояла на одноименной улице, за церковью, потому так и прозывалась.

— А почему в нее нельзя ходить, бабушка?

— Да уж потому, — с осуждением поджимала бабушка губы. — Нельзя, Сашуля. Когда перед войной взорвали на площади Белый собор-то, груда обломков не только что до войны, а и после войны лежала, никак не доходили до нее руки у властей. А говорили ведь, *нехалю зы*, что мешает собор движению, ввали людям-то. А груда, выходит, не мешала, так что ль? Э-хе-хе... Думали, когда взрывали, что кирпича будет много, что построят из него всякие дома для рабочих. Вот и взорвали. А того не подумали, что раньше-то, когда Белый собор строили, цемент на сырых яйцах замешивали. Мильёны яиц извели, самый большой собор во всей России-матушке построили! Весь город в него вмещался.

Я очень любил яичницу-глазунью, мне было

жалко, что пропало столько яиц.

— Лучше бы эти яйца людям на яичницу отдали, — бурчал я.

— Эх, Сашуля, тогда у людей всего вдосталь было, хоть завались, а уж яйца-то за дело никто не считал. И не жалели их для церкви. А цемент такой крепкий получился, что перед войной не смогли разобрать обломки на кирпичи, они не поддавались. Куда девать? Дробили куски стен на мелкие кусочки, дорогу в Москву мостили... Помнишь, Саша, мы из Вологды в Егорьевск по этой самой дороге ехали?

— Помню. А баня?

— Что — баня?

— Почему в нее ходить нельзя?

— Потому что когда баню Рязанскую после войны стали строить, то вместо фундамента вбили в землю обломки Белого собора. На них эта баня и стоит. Вот и получается, что мыться в ней не положено.

— И что же, никто в эту баню не ходит?

— Ходят, еще как ходят, — сурово и протяжно выговаривала бабушка. — Дураков-то чай много, Сашик. Дураки — они и на Светлый День моются, на то они и дураки да *нехалюзы*. Ты не будь таким, Сашуль.

— А что такое Светлый День?

— Это Пасха. Раз в году бывает такой великий

праздник. А мыться во всякое воскресенье не положено, грех большой. Знаешь, чем моется человек, который в баню в воскресенье идет?

— Чем?

— Кро-о-вью, вот чем, — торжественно возглашала бабушка. — Христовой кровью, Саша.

Бывших церковей было в городе больше, чем настоящих, например — бревенчатая Казанская возле старинной, безобразной городской тюрьмы. Туда, в эту прохладную двухсотлетнюю церковь, мы бегали с соседскими мальчишками, забирались внутрь через отдушину в фундаменте и лазили среди всякого хлама и обломков, брезгливо натываясь на заскорузлые «говёшки». Помню, на стенах кое-где сохранились росписи, помню и то, что одна роспись была вырублена узким треугольником, так что обнажилась оплетка под штукатуркой... В народе говорили, что орудовала какая-то приезжая шайка, что потом они продавали иконы и церковные росписи за границу, капиталистам.

Иногда мы отыскивали какие-нибудь «штучки» — латунное донце подсвечника, величиной с блюдечко, им потом можно было играть в классики, или обломок печного изразца — он никуда не годился, но все-таки, хоть что-то. Много лет спустя, в середине 80-х, эту самую старую в городе церковь якобы подожгли

хулиганы, но люди божились и «давали крест», что это не хулиганы, а тюремное начальство *«изничтожило»* заброшенный храм, чтобы построить на этом месте новый тюремный корпус.

Ропот и возмущение горожан были такими явственными, что в исполкоме так и не дали начальнику тюрьмы разрешение строить вожделенный новый корпус, его потом в другом месте отгрохали, а раскрытый, неожиданно глубокий церковный подвал зиял дырой еще долгие годы. Потом Казанскую церковь восстановили — из бревен, как в старину.

Еще были церкви, которые в те мои далекие детские годы хитро маскировались под какие-то другие дома. Играли со мной в прятки — так мне почему-то представлялось. А вот от бабушки они совсем не прятались, да и смысла не было никакого — бабушка их всех знала давным-давно, еще с царских времен. А я не знал, что раньше это была церковь. Бабушка мне объясняла.

Например, неподалеку от нашего дома, на другой стороне дороги, возвышались исклеванные голубями старинные кирпичные ворота с аркой, с оградой узорчатой, и мы, дошколята, к ним так привыкли, что никогда не задумывались: почему вдруг в одном ряду с обнизившимися, ушедшими в землю избами стоят эти мощные ворота, зачем их тут построили?

За воротами теми с чугунными копьями — пустырь захламленный, а на нем — высокий домина, беленый, с проплешинами оголенного кирпича. Это Дом пионеров со всякими детскими кружка ми, с большим залом и сценой. Но нам всегда казалось, что ворота — сами по себе, а домина — сам по себе, отдельно.

Бабушка сказала, что раньше это была церковь, но купола сломали. Для староверов церковь, их в городе всегда было очень много, и в советское время тех, кто верует по старому обряду и крестится двумя пальцами, звали, как до революции, «калганниками». Калганники ни под каким видом не шли в нашу церковь Александра Невского, а свои молельные дома, староверские, у них были далеко, в селе Шувое или еще дальше — в Алешино, и городские калганники тайно собирались молиться у своих «активистов», как их называла бабушка. А нас, троеперстников, они звали «кацапы». Староверов у нас в городе тогда было, по словам бабушки, «через два человека на третий», они с кацапами не водились, а нам, кацапским детям, строго-настрого запрещалось водиться с их детьми. И если на какой-то улице парень-кацап женился на девке-калганнице или, наоборот, кацапка выходила за калганника, то этому нерядовому событию потом еще долго дивились возле нашей «бассейны», качали

неодобрительно головами.

Мы с бабушкой не любили ходить в Дом пионеров, только — на голосование в июне месяце. Но однажды, в промозглый, студеный и ветреный летний день, зашли туда по дороге из магазина — погреться перед тем, как будем топить печку в своем выстуженном доме. И, как сейчас помню, попали на какой-то утренник. Сели в зале, а на сцене — всякие пионерские конкурсы (там, где сцена, раньше алтарь был староверский, сказала мне бабушка). Помню один конкурс: кто быстрее очистит картошку. На двух стоящих посреди сцены табуретках сменялись соревнующиеся пары, каждому мальчику или девочке выдавалась большущая картошка, и они торопливо, ломтями, срезали с нее очистки. Бабушка укоризненно причмокивала языком, глядя на эти картошки — золотистые, без червоточин и потемнений, крупные и ровные, как в мультике. «Для начальства картошка, такую просто так не купишь, это только с заднего хода», — ворчала бабушка.

Потом, после объявления победителей, эти картошки, ставшие крохотными, кидались вместе с очистками в помойное ведро. Бабушка, глядя на все это, не выдержала и заплакала — прямо там, в зале. «Сытые *нехалю* *зы*, а еще партийные, их бы заставить *поголодовать*, они бы поняли, что такое хлеб, — шептала бабушка. — Пойдем отсюда,

Санёга».

И все повторяла по дороге домой *с сердцем* : «Это прям не люди, а мысле те³ какие-то».

— Бабушка, там же картошка была, а не хлеб, — поправлял я.

— Все — хлеб, Саша. Все, что едим, все — хлеб, — убежденно отвечала бабушка.

Часто она говорила обо мне и о моей сестре Кате, что мы «не дети, а мысле те», потому что получалось в рифму. Я, дошколенок, быстро смекнул, что к чему, и придумал, как мне избегать нескончаемой бабушкиной ругани. Бабушку легко и быстро можно было привести в доброе расположение духа, если что-нибудь сказать стихами. И чуть только бабушка *заведет свою шарманку* , я начинал громко и с выражением читать свои собственные стишки, нарочно к этому случаю припасенные: «Вот опять двадцать пять, начинают нас ругать. Руг, руг, руг, руг, руг, руг — так и слышится вокруг, любит нас бабушка ругать!». Я без труда научился копировать

³ Эта старинная поговорка имеет в основе своей противопоставление соседних букв церковнославянского алфавита: «Л» — «люди» и «М» — «мысле́те». И на Руси говорили о невежах: «Да разве ж это люди? Это не люди, а мыслете».

стихотворные размеры и рифмы, потому что радио у бабушки не смолкало ни на минуту (кроме, разумеется, перерыва с двух до трех часов дня), и постоянно исполнялись одни и те же песни, которые я зал наизусть.

Бабушка звонко и весело смеялась над стишками, посвященными ей и ее ругани, говорила: «Санька, вот бы пропечатать, тебе бы денежку заплатили». А я от скуки натужно рифмовал и рифмовал, уныло понимая, что не стихи у меня вовсе получаются, а так, *шелуха* — по маминому презрительному выражению. Например: «В небесах золотой монетой сияет луна-планета», «Вот пистолет, ему сто лет», «Наш чайник весом в пуд — начальник всех посуды». В общем, хоть какой-то мало-мальской лирики там не проглядывало. Мне самому становилось тошно от моих стихов.

Гораздо лучше получались у меня рифмованные пересказы всяких мальчишеских драк, игр и подколов, футбольных и хоккейных матчей. Эти стихи мне не стыдно было прочитать своим лучшим друзьям — соседским мальчикам. Старший брат, Пашка, уважительно хвалил мои стихи, иногда восхищался даже, говорил: «Ты записывай, Саня, записывай, мы с тобой потом, через много лет почитаем, посмеемся вместе». Но я, конечно, не записывал, думал, что и так запомню.

А еще я был уверен, что «через много лет»

стану таким большим человеком, что какие-то мои детские стишки мне будут совершенно не интересны.

Увы, я ошибался.

7

Тогда, летом семидесятого, я жил недавним прошлым, все перебирал в моей узенькой копилке памяти дни, когда с нами жили папа, мама и Катя. Родители редко водили меня и Катю на прогулки без особой надобности — обычно раз в неделю, в баню возле старинной пожарной части с каланчой. В бане этой дореволюционной всегда были длиннющие очереди «на помывку», потому что в Рязанскую ходили только нехалюзы, а Хлудовская, за площадью, все-таки была маловата, тесна.

Я читал в предбаннике от скуки: «Комната матери и ребенка»... Что это за материя ребенка? Я никого не спрашивал, но догадывался, что в этой комнате грудных детей закутывают в материю, пеленают. В очереди сидело много мужиков с костылями, одноногих и одноруких, они курили все как один, и оттого обширный предбанник всегда был наполнен сладковатым, приятным и волнующим чадом — не то, что от бабушкиной печки! Бабушка часто закрывала заслонки раньше времени, чтоб сохранить побольше жару, после

этого в избе противно пахло распаренной свеклой и болела голова. Мама называла печеную или пареную свеклу «красотой», и я ненавидел свеклу, плакал, что не буду есть «красоту». Свекла и угар — вот два кошмара моего детства.

В бане мама и бабушка водили меня, как и Катю, в женское отделение, и потому я не видел голых обрубков вместо ног и рук. Наверное, ради этого меня и не пускали в мужское отделение вместе с папой.

Я знал, что мама работала в районной газете, а папа не работал, он — на пенсии, он инвалид войны, только с руками и ногами, не то, что мужики в бане. Папа почти всегда был дома, рядом, он непрерывно столярничал и что-то придумывал новое по хозяйству: то сарай переоборудует под «дачу», куда потом водили гостей, то новую стенку сделает в доме, то новый туалет в огороде... То качели нам с Катей на переднем дворе соорудит: старая липа — одна стойка, вкопанное бревно — другая, труба-перекладина и выстроганные папой из досок палки-держалки, а между ними — жесткий брусок сиденья.

Бабушка тоже работала на износ, «как семижильная»: все время, как она говорила, «образивала» дом, огород, стирала в корыте и готовила на керогазе или на шестке. Спустя много лет я понял, что бабушкино словцо «образить» — это

противоположность слову «обезобразить» и означает «придать божеский вид, образ Божий».

Да, приводить все вокруг в божеский вид было насущной необходимостью, нельзя было ударить в грязь лицом. Папа любил принимать гостей, местную элиту: постоянно кутившую редакторшу «Знамени труда» Олимпиаду Васильевну Газыреву, которая вызывающе бравировала своей беспартийностью (потому-то в бюро горкома партии взяли не ее, а мою маму, которая всего лишь ходила в замах у «Газырихи», как называли Олимпиаду Васильевну заглазно).

Приглашали родители и местного художника, увальня и очкарика Белоконева, который постоянно спорил с Олимпиадой Васильевной. Я сердился на художника, а бабушка говорила потом, что Белоконев и «Газыриха» только притворяются, а на самом деле — вась-вась. Папа всегда с галантностью вступался за редакторшу к явному недовольству мамы... «Она глаз на тебя положила, я же вижу!» — как-то услышал я. «Ну уж прямо так и положила, — добродушно ухмылялся довольный папа. — Ничего она не положила».

Я был согласен с папой, а не с мамой. И вправду, как это так? Как это может быть, чтобы чернявая тетка с папирской во рту вынула свой глаз и положила его на папу? Дивно. Однако с тех пор каждый раз, как я слышу выражение «положить

глаз на кого-то», в моем воображении возникает Олимпиада Васильевна, худощавая, стройная дама, которая с улыбочкой вытаскивает свой глаз из окровавленной глазницы...

Один раз, помнится, мама, папа, я и сестра Катя случайно оказались в клубе Кони́на (это в честь местного революционера замученного). Было это задолго до семидесятого года, мне только-только четыре исполнилось.

Тогда тоже, помнится, было лето, вроде бы — воскресенье, я все примеривался к папиным брюкам и с горечью понимал, что до его бокового кармана мне еще расти и расти... Мы, кажется, шли ближе к вечеру в гости или — из гостей, попали под сильный дождь, забежали в кассы клуба спрятаться от ливня. И мама весело предложила пойти на фильм, благо народу возле касс не было. Это было в ее характере: вот так вот просто, без предварительного обсуждения, взять и пойти в кино! Восторг. Я не помню, о чем была картина, но помню, как мы вышли из клуба. Еще было светло. Жуткий грохот и лязг металла, оглушительный треск мощных моторов обрушились на нас. По главной улице Советской нескончаемой колонной шли танки, обдавая нас удушливыми, смрадными выхлопами. Они все шли и шли в сторону заката, и папа больно стискивал мою ладошку. Лицо его стало серым и неподвижным.

— Война, Таня, — сказал он маме.

Мы никак не могли перейти дорогу, все ждали, а танки все не кончались. Какой-то старик рядом с нами прокричал танкисту, возвышавшемуся над люком башни:

— Сынок, вы куда? Куда вы?

— Не знаем, — весело отвечал танкист.

Долго потом асфальт на Советской улице так и лежал с отпечатками гусениц. Позже я узнал, что танки шли в Чехословакию. То был август 1968-го. А может, эти танки шли не в самую Чехословакию, а просто поближе к западным границам, на всякий случай...

Теперь, когда папа, мама и Катя уехали от нас поближе к Москве, мы с бабушкой ходить в баню перестали совсем. Скучно там, неинтересно. Вместо бани мы по субботам, как вернется бабушка со всенощной, наладились ходить «к нашим», то есть к бабушкиным племянницам — одинокой тете Ларисе и ее сестре, тете Нине с мужем, дядей Васей, они жили неподалеку от Нечаевской церкви. Мы там мылись в настоящей ванне, а не в галдящей и гроыхающей тазами людной бане с ее неистребимыми запахами стирального мыла и мокрого белья: всякая баба непременно устраивала постирушки в общем зале, причем набирала сразу несколько железных оцинкованных тазиков для замочки, так что тазика свободного приходилось

дождаться терпеливо и долго.

Помню, день накануне долгожданного похода «к нашим» бабушка называла «пятница-заплатница».

— Почему заплатница, бабушка? — спрашивал я.

— Ну а как же, Санёга? Ведь суббота — банный день, значит, в бане стирать белье нательное будут. Надо перед этим все дырки зашить, заплаты поставить, а то во время стирки дыры еще сильнее разойдутся. Вот и прозвали пятницу — заплатница.

Бабушка добавляла зачем-то:

— А уж в воскресенье во всем чистом да заплатанном в церковь шли, вот так-то, Санёга.

В субботу, по дороге к «нашим», в самом конце Курлы-Мурлы, мы выходили на огромную, пугающую меня своей безжизненной пустотой площадь. На дальней стороне ее, между крон гигантских ветел, виднелись кирпичные, с островерхими башенками и чеканными флюгерами, очертания авиационного училища. Слева, на бугорке — каменный магазин царской постройки, лабаз бывший, он так и назывался в народе — «Бугорок», там шоферы в стороне от глаз людских покупали вино. А на том конце площади, где начинались городские «зады» с бесчисленными улочками, застроенными деревянными избами,

уходил в сторону кладбища начинавшийся здесь, по словам бабушки, Владимирский тракт, и улица, косо загибавшая на восход солнышка, так и называлась: Владимирская.

Чуть не посреди площади стояло приземистое, разбитое строение из обсыпавшегося кирпича, без окон и дверей, вместо них зияли проемы. Мне иногда бывало невтерпеж, и мы шли туда с бабушкой, ведь там были устроены женский и мужской туалеты — в каменном полу просто пробили дыры в подвал. Бабушка говорила, что при царе здесь, на площади, была часовня Николая Угодника, куда каждый перед въездом или выездом из города по Владимирскому тракту мог зайти помолиться на путь-дорожку. А теперь заходят «по большому» да «по малому».

А, может, она говорила, что часовню Николая Угодника с чудотворной путевой иконой сломали «партийные», а потом из этих обломков, из кирпича то есть, построили общественный туалет. Ведь рядом с площадью, под стенами монастыря, было старое кладбище, а на самой площади устраивали до войны гулянья и ярмарки, а потом, раз в году — сожжение чучела Масленицы-Зимы. В общем, нужен тут был туалет.

Я, шестилетний, думал тогда, что часовня — это всего-навсего помещение для часовых, и у меня рассказ бабушки никаких печальных чувств не

вызывал. Подумаешь, караулку в туалет переделали. У них, поди, у солдат-то, всегда был там туалет.

Много церквей разрушили в Егорьевске, особенно часто и горестно тужила бабушка о Белом соборе на площади.

— В тридцать пятом-то годе, перед самой Пасхой, решили взорвать Белый собор, и только-только народ на зачин прошел, в шесть утра, тут ка-ак ухнет! Все сотряслось, даже фабрика наша, во как, Санёга. Как будто душу из Егорьевска вытрясти хотели.

— Кто, бабушка?

— Как это кто? Власти наши партийные.

— А вы бы сказали им, чтобы они не взрывали.

— Да как скажешь-то? Кто нас будет слушать? А?

— Но ведь жалко людям было...

— Жалко у пчелки, Сашик. Чего его жалеть-то, этот Белый собор, коли уж власть так решила. Это не нашего ума дело.

А потом и Красный собор загорелся, деревянный, во имя Георгия Победоносца — в честь него и город назван был когда-то. Люди кинулись было с ведрами тушить, ан глядь — вокруг собора энкавэдэшники стоят, не пускают народ с ведрами: «Нельзя!» Тут и смекнули

городские умники, что, значит, пожар-то — их рук дело, энкавэдэшников, а народу объявить хотят, что сам по себе собор сгорел.

Так ведь и объявили.

— Зинка-то Прищепчик, секретарь наш партийный, на Газыриху похожа была, — говорила бабушка. — С папироской, в кожаной куртке, сама накрашенная вся. Как мужик, за рулем ездила в машине своей. А в тридцать седьмом ее — цап-царап! Враг народа. В энкавэдэ и спрашивают: кто, мол, такой у вас, Зинаида Антоновна, во время гражданской войны вашим хахалем был, а? Ей и крыть нечем. Знамо дело, расстрел. Только она дожидаться не стала, удавилась в тюрьме. С ума, знать, сошла. Иудина смерть, вот так-то, Санёга, церкву-то разрушать.

— А кто у нее хахаль был, бабушка?

— Офицер, Саша. За царя он был, против советской власти. А она — еврейка была. Потому и не женился он на ней, так просто жили.

Я не спрашивал до поры, почему нельзя жениться на еврейке... И вообще: кто это такая — еврейка, еврей? Бабушка говорила эти слова с таким видом, будто они были запретные. А кто такой хахаль, мне спрашивать было не нужно, про то знали все мальчики и девочки. Это проходящий мужик. И уходящий, стало быть.

И собор Александра Невского, и Нечаевскую

церковь, и храм для староверов, где во времена моего детства и юности был Дом пионеров, построил на рубеже эпох городской голова Никифор Михайлович Бардыгин, второй по значимости капиталист-фабрикант в Егорьевске — после братьев Хлудовых, конечно. А еще были Князевы, Лаптевы, Хреновы, Брѣховы, егорьевские Рязановы — все они «миллионщики», первой гильдии купцы. Бабушка нет-нет да и вспоминала эти имена в своих рассказах о старинной жизни. И вот я призадумывался порой, однако ж никому о своих соображениях не говорил: а ну как наши с бабушкой соседи, Хреновы, Князевы да Лаптевы — какие-то осколки, отголоски тех знатных купеческих родов Егорьевска? Иначе откуда у них такие фамилии? Город-то маленький совсем, уж всяко родственники какие-то все тутошные люди с одинаковыми, но заковыристыми фамилиями. Ну, которые не Ивановы и не Петровы...

Люся Брѣхова, белобрысая, красивая и рослая девушка, жила на нашей улице, в нашем квартале, перед кирпичным беленым домом. Иногда я доходил в своих пеших походах до ее калитки, Люся грустно стояла в расстегнутом цветастом сарафане и грызла семечки. Она протягивала мне горсточку, я стоял рядом, о чем-то второпях рассказывал Люсе, сплевывал шелуху и смотрел, как незнакомый высокий парень приближается к

дому Брёховой. Это был совсем другой парень, чем в прошлый раз. Поздоровавшись с Люсей, весело говорил мне:

— Всё, пацан, смена кавалера!

Или грубо:

— Иди, малец, домой, Люся теперь нескоро выйдет.

И юркал в калиточку, Люся — за ним, почему-то оглядываясь на меня виновато. А, может, и не на меня, а на весь мир, на всю улицу... Не в радость ей была такая жизнь, это чувствовалось очень.

— Это нехорошая девушка, Сашуля, не водись ты с ней, — говорила мне бабушка.

— Люся добрая! — кричал я с обидой за грустную девушку. — Почему она нехорошая?

— Подрастешь — поймешь, — скупо отвечивала бабушка.

А я и тогда что-то затаенно понимал, причем сознавал при этом, что понимаю всё правильно, потому что было мне тоскливо и томительно от этого понимания. Тоска — вернейший спутник правоты. И вообще — правды.

А мама смеялась над Люсей, говорила, что «эта девица изнывает от мечтаний». Никто из взрослых не любил Люсю.

Рязановы — бабушкины однофамильцы — жили через квартал от нас, прямо за церковью

Александра Невского. Это были коренные Рязановы, егорьевские — бабушкин-то папа был московским Рязановым. А были при царе, помимо купцов первой гильдии, еще и такие люди из торгового сословия, как чиновники Казьмины, и вот теперь напротив бабушки, на втором этаже дореволюционного дома, живет веселый, разбитной парень Андрюшка Казьмин.

Жил давным-давно и поживал себе в нашем городе хозяин шикарного фотоателье Никифор Зенин, первостатейный мастер, его фотопортреты давно умерших сородичей есть в каждой егорьевской семье — и у бабушки таких фотографий много было, с печатью сиреневой: «Фотографъ Н.Д.Зенинъ». И вдруг я узнаю, что мамина одноклассница, тетя Леля — тоже Зенина. Это как же?

Да так. Посекали стволы сочных, плодоносных деревьев, потом коренья вокруг пня обрубали. А они, коренья-то, взяли да проросли чуть поодаль, и затерялись эти «пасынки» в людском бурьяне, в чертополохе новых поколений...

И не помнили, видать, своего родства все эти иваны-пасынки. А может, только делали вид, что не помнят, потому что помнить было опасно. Мало ли как оно повернется... Случись чего, на них на первых отрыгнется да аукнется все недовольство

людское и начальственное.

Но старик Хренов, которого все мы звали с неприязнью — «старый хрен» и «колдун», видать, не просто помнил о своем происхождении, но и каким-то образом давал всем понять, что помнит. Молчанием своим, нелюдимостью давал понять. Может, потому и не любили его, а не только за то, что он оранжерею развел? Может, чутьем чуяли курлы-мурловцы его купеческую породу?

В память врезался странный случай, который внезапно свел меня со стариком. Помнится, тогда, поздним летом 70-го, я отыскал в бабушкином чулане ветхий, заскорузлый рюкзачок, набил его всякой всячиной и вырядился нищим странником: очки без стекляшек на носу, фетровая потертая шляпа, бороденка из мочального лыка да волочащийся за мною по земле поношенный пиджак. Ну, и рюкзачок на спине, как у бродяжки. В таком вот обличье я и расхаживал вдоль домов, будучи уверен, что люди, смотревшие в окна, гадают: что это за старикашка у нас тут бродит, милостыню выпрашивает?

Из этого сладостного творческого заблуждения меня безжалостно вывел Пашка Князев:

— Не-а, Санек, не похоже. Сразу видно, что мальчик нарядится дедом.

— Ну почему не похоже? Почему? —

кипятился я. — Ну и что, что я маленький! Вон, у церкви старуха стоит нищая, она вообще — карлик! Может, чуть повыше меня только.

Пашка задумался.

— Сань, у тебя походка не та, понимаешь? Тебе надо ногами шаркать по земле и хромать. Тогда похоже будет. Издали.

Я снова кинулся в чулан, там я заприметил шлепанцы расплющенные, ненужные никому, потому что бабушка круглый год ходила по избе в мягоньких теплых опорках. Еще я видел в чулане висящую на гвоздике деревянную трость с закругленным крюком. Палка эта была для меня великовата, выше головы, но я мигом, не спросясь бабушки, отпилел половину ее одноручной тупой пилой.

Теперь я исправно елозил по тропинке подошвами в разношенных тапках, переваливался из стороны в сторону, тыча обрезком трости впереди себя... Таким-то макаром и доковылял я до окошек старика Хренова. И остановился, будто устамши, начал ковырять концом палки в прелой от дождей траве.

Пашка со своего крылечка покрикивал мне в спину одобрительно:

— Давай-давай, Саня, вот теперь почти похоже!

И был он, Пашка, уже далеко позади...

Тут справа грохотнула чугунная щеколда, я обернулся в испуге и увидел в проеме калитки «старого хрена». Совсем близко, ну вот просто дышит он мне в лицо!

Я оцепенел.

А «колдун» молча и печально смотрел на меня, его мятое, изжеванное какое-то личико словно умоляло о чем-то...

— Мальчик, хочешь яблок? — спросил вдруг «старый хрен».

— Не-а, — прошептал я.

И прошептал вполне искренне, потому что у бабушки в сених, дружка на дружке, стояли ящики из темных жердочек, доверху полные этих надоевших яблок. Бабушка больше не хотела тратиться на песок для яблочного варенья, и так уж его стояло по банкам в чулане — за год не осилишь.

— А груш? — с надеждой спросил меня «колдун».

— И груш не хочу, — повторял я, как дундук, хотя груши всегда были для меня в диковинку.

Страх мой постепенно схлынул, уступил место злости и досаде: как же так, почему «старый хрен» не признал во мне «своего», то есть — такого же старика, ведь он же слепой совсем, ну что ему стоило поверить в мое переодевание? И кто тогда вообще поверит, если этот не поверил?

— Может, тебе трубка железная нужна, а? —

продолжал сморщенный Хренов, ему почему-то очень не хотелось, чтобы я ушел с пустыми руками.

Каким-то *ная нистым* неожиданно оказался этот вроде бы зловещий доселе старик. Это словцо — *наянистый* — тоже было из бабушкиного обихода, она время от времени так обзывала меня самого. *Наянистый* — значит, *настырный*, неотступный, занудный.

Но с трубкой этот «старый хрен» попал в самую точку! Трубки, особенно — стальные или, на худой конец, медные (их если и разрывало, то хотя бы без осколков), были нашей постоянной мечтой, мы бредили о хороших трубках, искали их повсюду или выменивали за очень серьезную цену — в обмен на трубку, пригодную по длине и калибру для самопала или, чего похлеще, поджиги, готовы были отвалить с десятков тяжелых «биток» из свинца или штук пять строительных патронов, причем целых, не отстрелянных, с порохом.

Самопалы и поджиги мастерили в каждом дворе, независимо от возраста живущих там пацанов.

— Трубка хорошая у меня есть, — говорил «колдун» таинственно.

— Покажите, а? — совсем уж осмелел я.

И впрямь — колдун! Как он догадался, что я мечтаю о хорошей трубке?

Глянул назад, в сторону Пашки Князева. Даже

на таком расстоянии было видно, что он испугался за меня, но прийти на помощь не решается, только знаки делает — мол, беги, Саня, беги!

Я шагнул через калитку в заросший бурьяном двор старика Хренова. Слева, под навесом, был у него деревянный верстак с бурыми от ржавчины тисками, а возле верстака, на земле, грудились черные кольца резинового шланга с длинной и толстой поливочной трубкой на конце.

— Вот такая трубка подойдет тебе? — спросил меня «старый хрен», радостно волнуясь.

Я кивнул, стесняясь выдать свою жадность.

Высохший дед зажал трубку в тиски и принялся долго, размеренно отпиливать ножовкой ее загнутый конец. Потом спросил:

— Тебе какой длины?

И тут я сглупил, мне надо было бы забрать всю трубку, а, пожалуй — и со шлангом в придачу, старик помог бы дотащить до бабушки... Но я попросил отпилить мне только лишь кусок с ладонь длиной — мечтал сделать пистолет. Я понимал, я чувствовал, что этот жалостливый и жалкий Хренов безвозвратно портит очень нужную в хозяйстве штуковину, просто незаменимую для полива огорода, что мы с бабушкой такой длиннющий шланг с железной трубкой-наконечником завели бы у себя с превеликим удовольствием, но у нас его нет и не будет никогда, а у старика Хренова он есть

и теперь поглупевший в одночасье, недавний куркуль и единоличник своими же руками этот чудесный шланг «позорит»...

— Если что-то еще нужно будет, приходи, — сказал мне старик возле калитки.

И вот я бегу вдоль нашего квартала к тревожно маячащему впереди Пашке Князеву, я позабыл уже о провале моего театрального действия! Ну что там, в самом деле, какие-то переодевания, когда у меня в ладони зажато целое сокровище — тяжелая трубка, сверкающая сталью на свежем спиле, до того толщенная, что никакой заряд ее не разорвет, хоть целый коробок спичек в нее начисти да затолкай.

Пашка разглядывает мое приобретение озадаченно:

— Надо же... Вот так «старый хрен»! А откуда он ее отпилит-то?

Я взахлеб рассказываю о шланге, о наконечнике... Пашка яростно сплевывает на тропинку:

— Тьфу ты! Ну и дурак ты, Саня! Попросил бы отпилить побольше, целиком, я бы такую поджигу сделал! Ух! Курковую! Глянь, дырка-то как раз под строительный патрон, растяпа ты, разиня — (п)опу раздвиня!

И я пошел домой, пристыженный, забросил трубку в сердцах куда-то в кучу всякой

мальчишеской всячины в углу у комода. Рассказал бабушке про «старого хрена», что никакой он не колдун.

— Видно, помирать собрался. Совесть куркуля заела, — сказала бабушка то ли с грустью, то ли с укоризной. — Всю жизнь одиноличником прожил, так теперь перед *смертью* хочет хоть чего-нито хорошее сделать.

Той же осенью старик Хренов умер.

8

А вот людей с фамилией «Бардыгины» в городе не осталось ни единого. И о Хлудовых каких-нибудь не слышал ни я, ни мои знакомые. За границу уехали все в революцию, что ли? Дай-то Бог, если так.

Много чего построили на свои деньги в Егорьевске первогильдейные купцы — из общественных зданий, имеется в виду. Особенно — Бардыгин-старший. Даже гордость нашего городка — авиационно-техническое училище — построил щедрый «голова», правда, не знал он, что тут будет после его смерти училище летное, ведь строил-то женский монастырь, Троице-Мариинский. Для супруги своей строил, между прочим. Жена была у Бардыгина молодая совсем, чуть не во внучки ему годилась, и частенько говорила она городскому

голове — мол, как мне жить-то будет, когда я овдовею после тебя? Хочу в монастырь после твоей смерти пойти. Ну, богатый голова взял да и выстроил этот монастырь со сказочными башенками, чтобы жена его вдовая после мужниных похорон сюда пошла на жительство. Игуменьей, само собой. Да только... Немного не так все вышло. Померла цветущая Мария Владимировна Бардыгина внезапной смертью, перед самым завершением строительства Троицкой Мариинской обители. А вслед за ней умер от горя и сам Бардыгин, Никифор-то Михайлович.

— Вот так, Сашик, не в деньгах счастье, — сказывала бабушка.

Правильно сказывала, как Бог свят — правильно.

Здесь, в главном храме Троицкого монастыря, и могилка Бардыгинская была с надгробием, как и прочих «на больших» людей, похороненных в монастыре с почетом. На камне высекли излюбленную Никифора Михайловича цитату из апостола Павла: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и все остальное приложится вам».

А в гражданскую войну перевели сюда из Гатчины летную школу, Валерий Чкалов здесь обучался, и, может быть, даже подымался с Егорьевского аэродрома в свои первые небесные странствия. Сделали тогда в Троицком храме

сначала общежитие для будущих летчиков, а потом, когда построили им нормальный жилой барак, в бывшем храме открыли клуб для курсантов. И оставался там клуб десятилетиями. В годы моего детства туда пускали девушек на танцы, если я верно запомнил, бесплатно. Чтоб не скучно было «рюрикам». В окошко нашего дома мы с бабушкой часто видели «рюриков» (так по сей день именуют курсантов), идущих под руку с девчонками в сторону бывшего женского монастыря, а с 1918-го — училища ГВФ, то есть, гражданского воздушного флота. Бабушка всякий раз, глядя на такую парочку, качала головой и бормотала осуждающе: «Ведь на танцы в бывшую церковь идут, в алтаре плясать будут, *нехалюзы*».

Это излюбленное свое, прямо-таки фирменное словцо — «нехалюзы» — бабушка отгружала с сострадательным укором: дескать, ну что с нее взять, с нынешней молодежи, не воспитывали их, бескультурщиной вырастили. Понятие «нехалюза» объединяло в себе такие эпитеты, как «невежа», «неряха», «нахлебник», «человек, не уважающий стариков», «расхлябанный», «безалаберный». Одним словом — «бознать что, а не человек», оторви да брось. Я тоже, по каким-то признакам, частенько определялся бабушкой в нехалюзы, и мне всякий раз было стыдно, что я — нехалюза.

Егорьевское

авиационно-техническое

училище гражданской авиации в городе называли по-старинке, по-довоенному: «ГЭВЭЭФ», и поступить туда было мечтой очень многих парней. Ну, мечтой — не мечтой, а все-таки — лучшее из того, что рядышком, возле дома. Хотя бы потому, что в армию после ГВФ не забирали, а вся учеба там — те же два года с небольшим. А все-таки в родном городе, можно домой поехать заскочить, да и вообще условия получше, и специальность будет хорошая — техник самолетный. И еще, конечно, относительная свобода была у «рюриков» по сравнению с армейской казармой. Да что говорить! Танцы два раза в неделю, к примеру, после которых, уже ближе к полуночи, курсанту позволялось проводить девушку домой. Хорошо? Еще как хорошо-то!

А в самом клубе курсантов ГВФ... Знамо дело, надгробия почитаемых в народе людей снесли, уничтожили настенные росписи. Бабушка не раз и не два пересказывала мне, шестилетнему, разные случаи (байки, былины?) про потревоженных мертвецов, на костях которых плясали девушки и «рюрики». Иногда вспоминала какую-нибудь новую, доселе позабытую историю, но чаще рассказывала старые сказки, только непременно — чуть-чуть по-другому. Обычно — когда мы шли с ней в детский сад, и в конце Курлы-Мурлы, за магазином по прозвищу

«Бугорок», показывались кирпичные строения «испозоренного» монастыря. Одну страшилку я запомнил почти наизусть:

— Был такой лютый начальник училища этого летного, Петриков его фамилия. Очень он злился, что святые лики на стенах церковных никак не закрашиваются, сколько ни красили их, а святые опять проступали. И нимбы ихние. Потому что раньше краска была хорошая, а теперешняя, стахановская, на ней не держалась. И полез он как-то — может, пьяный был — на лестницу высоченную, чтобы молотком и долотом изуродовать да испозорить старинные лики святых. И в это самое время услышали те, кто внизу стоял, голоса многих упокойников, тут похороненных. Полетел он вниз с лестницы, начальник этот, Петриков, и копчик себе сломал. Три дня потом пролежал, страшно ругался и богохульствовал, и дух испустил. Так-то, Саша. Но не поверили партийные люди, что это упокойники ихнего начальника к себе утащили, и приказали выжечь лики святых паяльной лампой. Чтобы, значит, глаза не мозолили, не смотрели со стен. Чтобы не так совестно было танцы в новом клубе проводить, на могилах.

...Через много лет я узнал, что вся эта история — правда. Ну, кроме того, что касается оживших покойников. Хотя, как знать, может, и про

покойников — тоже правда.

Ух, и отплясывали на косточках ваших, земляки мои, егорьевцы, коих угораздило стать при царе щедрыми да благодетельными! Других-то в Троицком монастыре не погребали. Конечно, после войны уже мало кто знал, что пляски эти — на гробах. Но бабушка еще помнила, по рассказам ее мамы в основном, как весь город шел за гробом Бардыгина, мимо построенных им за свой счет гимназий, церквей, мимо больницы наипервейшей по тем временам, мимо городского музея, мимо чудесного «бардыгинского» горсада с чугунной оградой... Гроб сообразили установить на широкой деревянной платформе, и под ней постоянно сменялись плачущие егорьевцы — всем хотелось хоть немножко пронести на своих головах дорогого покойника.

— А как надругались над могилой Бардыгина, у нас в лесу появился медведь-шатун, — пугала меня бабушка нарочито загробным, таинственным голосом, когда мы возлежали на своих лежбищах, я — на диванчике, бабушка — на кровати чугунной, в темноте, сказки рассказывали — вернее, бабушка рассказывала, а я слушал, замирая. — Он, медведь этот, зимой лапу сосать в берлогу не завалился, а все бродил и бродил по лесу. Вот пошел как-то в лютый мороз мужик с нашей улицы в лес, хворосту собрать, дрова тогда были — не укупишь, так

дорого, это ж в начале двадцатых годов, холод и голод. Нарубил валежника, тут прямо на него этот медведь-шатун и выйди. Мужику делать нечего, либо помирать лютой смертью в когтях у зверя, либо медведя того осилить. Стал он топором отбиваться да и убил шатуна. Дух перевел, думает: а ведь мясо-то съесть можно, только уж больно тяжел медведь, не дотащить до дому. Пришлось лапу медвежью топором отрубить переднюю, которую мишка в берлоге зимой сосет. Положил он отрубленную лапу на санки, хворостом сверху прикрыл, чтобы не отняли у него лихие люди по дороге, да и назад к своей бабке вернулся. Довольный, инда светится весь, хвастает: вот, бабка, сейчас мы с тобой лапу медвежью в печке сварим, до сти наедемся! Растопили печку, поставили чугунок с медвежьей лапой на шесток, варят и радуются. А медведь-то был *чародейский* ! Уж ночь на дворе, они слышат — ворота трещат от сильных ударов, испугались, и голос такой страшный: эй, мужик да баба, вы лапу мою варите да есть ее хотите, а я вас самих сейчас убью и съем! Куда им деваться? Хотели в окно вылезти — поздно, медведь уже во дворе, уже ворота сломал. В подпол залезть? Так ведь оттуда потом не убежишь, так и будешь сиднем сидеть, пока медведь не найдет, тут уж никак лютой смерти не избежать. А медведь уже в избу ломится, дверь трещит: эй, вы,

мужик да баба, вы лапу мою варите, а я вас сейчас убивать буду! Мужик и говорит бабе: полезем в печку, а там по трубе как-нито на крышу выползем, закричим, на помощь звать будем.

Я вмешиваюсь в бабушкин рассказ:

— Бабушка, а как они в печку полезут, если там огонь, они же лапу варили в чугунке?

Бабушка сердится:

— У них две печки было, в каждой избе раньше всегда были две печки — одна лежанка, чтобы старые кости греть, она теперь у Лидушки стоит, на ее половине, а другая — как у нас с тобой, голландка, с шестком для чугунков да горшков. Понял?

— Понял, — смиренно соглашаюсь я.

Бабушкина сестра тетя Лида жила на другой половине избы со своей собственной печкой-лежанкой, и к нам носа не казала.

— Ну вот, — продолжала свой рассказ бабушка. — Полезли мужик да баба в печку, которая лежанка, там дымоход прямой, широкий. Мужик пролез, а баба застряла, толстая была...

— Как тетя Рая?

— Ну, может потоньше, но все равно застряла. Мужик ее за руку тянет-тянет, тянет-тянет, вытянуть не может. А уж медведь в избу вошел, говорит грозно: не вижу, где вы тут. Вот чугунок кипит с моей лапой, а где вы сами-то? Под лавкой

нет, в сундуке нет... Ах, вот вы где, вы в печке-лежанке! И стал медведь печку ломать, толкает-толкает. Рухнула печка, а вместе с ней и труба, вот тут-то бабе свободней стало, повисла она, и мужик ее мигом на крышу вытащил. Стали они кричать, сбежались окрестные мужики с кольями, да и уходили того медведя насмерть. Смотрят и диву даются: мертвый медведь на глазах в человеческий скелет оборотился, а на груди его — орден царский, в котором Бардыгина хоронили. Потом и скелет растворился, исчез. Во-от оно как, Санега!

Я молчу какое-то время, потом спрашиваю:

— Так выходит, бабушка, что медведь тот и был Бардыгин?

Теперь уже бабушка молчит, соображает что-то.

— Какой такой медведь-Бардыгин? Это разве я так сказала?

— Ну, про орден-то царский, он же у Бардыгина был.

— Ерунды не говори, спи давай, ночь на дворе.

Бабушка часто вспоминала проводы Бардыгина в последний путь, когда смотрела на жиденские похоронные процессии, плывущие за нашим окном: «Да уж, это тебе не бардыгинские похороны!» Конечно, случались и при мне

огромные толпы народу — помню, как хоронили всем городом девятнадцатилетнюю девушку, она внезапно скончалась от разрыва сердца перед свадьбой, и ее положили в гроб в подвенечном платье с фатой. Вышли они с женихом из «Мосторга», что на площади нашей главной, а тут, глядь — автобус к остановке подходит, ну и давай бежать к нему, им в микрорайон ехать надо было... Жених в автобус успел заскочить, ей руку протягивает, а она, сердешная, как только ступила на подножку, так и умерла.

Очень тогда весь город переживал из-за этой печальной смерти, а бабушка в разговорах с соседями особенно поражалась тому, что все продукты и кушанья, заготовленные на свадьбу, пошли на поминки. Бабушка плакала, глядя на гроб, который несли мимо нас из церкви после отпевания: «Какая молодая, за что?», а за гробом валом валили бесконечные толпы егорьевцев, от мала до велика, дети гурьбой, старики...

— А где жених-то? Где жених? — жадно спрашивали друг друга женщины вдоль обочины.

— Вон он, вон за гробом идет!

— Да не идет, а несут его дружки!

Помню худого парня в черном костюме, которого и вправду не вели, а несли его товарищи, просунув головы ему под мышки...

А еще я видел краешек тонкого профиля над

белой пеной подвенечной фаты, а бабушка, утирая катящиеся градом слезы, повторяла: «Надо же, вся в газе, вся в газе».

9

Из церкви «упокойников» почти каждый день проносили мимо нашего дома, мимо четырех его фасадных окон. Иногда я насчитывал по шесть-семь гробов за день, спешил доложить эту цифру бабушке — знал, что ей это не все равно. Бабушка всегда очень живо реагировала на такое обилие отправляющихся в мир иной: дескать, надо же, как много людей умирать стало, а я-то все царапаюсь... «Царапаюсь» — на бабушкином языке означало: держусь пока что, ползу куда-то, к своему неведомому концу.

Редко-редко хоронили с музыкой. Больше всего мне нравился дядька с огромным барабаном спереди живота, он нес его «колесом», и с тех пор, когда бабушка говорила мне: «Вырастешь первым парнем на деревне, ходить будешь — грудь колесом, все девки твои!» — я представлял себе этого дядьку из похоронного оркестра. Он мерно взмахивал колотушкой с черным резиновым набалдашником, и барабан ухал — негромко, но очень густо и внушительно: «Пумп!». А другой рукой дядька изредка, будто наскучив дразнить

меня ожиданием, хлопал приплюснутой медной шляпой по другой такой же шляпе, перевернутой вверх дном, как у нищего перед церковью. Улица Курлы-Мурлы оглашалась надтреснутым, звонким дребезжаньем: «к-кэш-ш!».

Конечно, дядька с огромной, помятой и тускло отливавшей латуnią загогулиной — тоже ничего. И тот, что выдвигает-задвигает узкую трубку с блюдцем на конце...

— И охота родне платить деньги за музыку, — сокрушалась бабушка. — Только душу выматывают.

Спохватывалась:

— Вы меня не вздумайте с музыкой хоронить, так и скажи папе и маме, что бабушка не велела. Нечего деньги переводить. Ведь это с ума сойти — по пятерке на каждого архаровца, да еще по поллитре, да закуску заверни. Эти-то, с трубами, видно, что *пузы рятся*, грудь надсаживают всю дорогу, а с барабаном который — вообще мышей не ловит, идет вразвалочку да палкой своей долбит! Как только не стыдно деньги брать.

Бабушка из разговоров со всякими людьми знала, почему стоит музыка. И я соглашался с бабушкой — барабанщиком быть лучше всего.

Обычно оркестра не было. Как сейчас помню старушечье нестройное пение за окном, достигавшее моего слуха: «Свя-а-ты... о, о, о...»

«Бабушка, жмурика несут!» — кричу я. Это от дяди Вити я услышал такое смешное слово — жмурик. Он и вправду ведь зажмуренный, который в гробу лежит... Бабушка отрывается от швейной машинки, говорит мне тихо, безо всякой надежды на мое исправление: «Нехорошо, Саша. Упокойник это, а не жмурик». Потом встает во весь свой высоченный рост, безмолвно смотрит в окошко на сморщенный старушечий профиль в гробу. Я ощущаю торжественность момента, тоже умолкаю. За окном, сполохами сквозь реденькие, бегущие облака — солнышко, раскачиваются тонкие ветви плакучей березы. И я верю, что это солнечные лучи колышут и треплют березу, а никакой не ветер — он же не виден и не слышен в избе, нет его, а солнышко — вот оно, его видать, как оно... то растопырит пятерню своих лучей, то снова сожмет их в кулак, спрятавшись в облаках.

Я пытаюсь залезть на стул, чтобы лучше видеть упокойника в глубоком узком гробу, но бабушка спохватывается:

— Нельзя через стекло на похороны смотреть, пойдем, Саша, на улицу!

Мужичков-старичков в городе было — раз, два и обчелся. Поубивали в войну почти все тогдашнее стариковское мужское поколение. А кого не убили, тот сам загнулся, не дотянув до пенсии: либо нажил себе рак на асбестовом заводе,

либо надыхался до смерти цементной пылью на заводе ЖБИ, а не то — так надорвал жилы в литейке завода «Комсомолец»... Или на рытье котлованов пупок развязался, или отравился с похмела политурой. Или сгинул в лагерях и тюрьмах, отбросил копыта в пьяной драке.

Ну, а бабушка на сей раз строчит, согнувшись в три погибели, уже не трусы для дяди Вити и не брюки «клеш» для соседского пацана Пашки. Нет, бабушка шьет себе саван. Чирикает по-воробьиному ее ровесница, напарница ее и товарка, швейная машинка «Зингер» 1906 года выпуска. На саван бабушка выбрала обветшавший после неисчислимых стирок пододеяльник. Ситцевый, в мелкий горошек. Один угол пододеяльника будет куколем на бабушкину голову, когда она умрет. И теперь бабушка примеряет этот куколь перед зеркалом, прихорашивается с загадочным, таинственным и довольным видом. Иной раз «для ради такого случая» даже берет острые маленькие ножнички и состригает жесткий седой волосок на подбородке...

Саван будет лежать в комод, завернутый в газету «Социалистическая индустрия». (Газета про то, как мы строим социализм в Индии, — так я думал тогда на полном серьезе). Он, этот саван, не первый по счету, все прежние уже истлели и пошли на тряпки — бабушка время от времени делает

комоду «ревизию» — тоже любимое бабушкино словечко.

Может, она даже заранее определяла, сколько пролежит в комодке очередной саван, гадала, доживет ли до намеченного дня. И новый саван — это еще одна вежа, подспорье для дальнейшего «царапания».

А еще у бабушки была гробовая подушечка под голову, набитая стружками.

— Ты бы лучше ватой набила, бабушка, чтоб тебе в гробу мягче было лежать, — подсказывал я.

— Не положено ватой, — разъясняла мне старинную премудрость бабушка. — Положено стружками. В вате черви заводятся, а стружки червей отгоняют.

И прибавляла с тихой гордостью:

— У меня и гроб на чердаке припасен, его еще отец мой, Николай Макарыч, из досок выстрогал. Наверно, разохся весь, ведь столько лет прошло! Полвека. Про запас выстругивал — а вдруг кой-та от голода в революцию помрет, а гробов-то и не сыщешь готовых? Вот подрастешь немножко, может, через годик-другой, слaziшь на чердак, а то у меня кости болят. Чего-нито дельное там найдешь, а гроб мы в печке сожжем, если негодный стал.

Я очень боялся, что бабушка взаправду умрет. Причем — внезапно и «не за понюх табаку» — так

сама она говорила о нелепых смертях. Бабушка ничуть не заботилась о своих ссадинах, шишках да порезах, которые «за дело не считала». Глядя, как она сама себе наносил нечаянные увечья, когда носится по дому или огороду, как чумовая, приходил я в бешенство, топал ногами и ревел:

— Хватит! Хватит себя гробить!

«Гробить себя» — это, конечно же, одно из бабушкиных присловий...

Она жила постоянно в каком-то безумном гоне, словно само продолжение окружающей жизни ежесекундно зависело от того, успеет она сделать все сразу, или — не успеет.

— Приходи, тетя Оль, в хозчасть, заведи сломанную загородку на дрова, — сказал как-то дядя Витя мимоходом.

И — не шагом, а бегом летит бабушка по тропинке, будто кто-то злоумышляет против нее, тщится отнять гнилушки, увести их у бабушки из-под носа... Я плетусь за ней с нехорошим предчувствием.

Бабушка, разумеется, не надела рабочие рукавицы — она именует их «голички», и теперь до крови ранит пальцы о торчащие из досок ржавые гвозди, всхлипывает, жалуясь на судьбу-злодейку, сгребает огромную, неподъемную охапку обломков, будто хочет за раз все унести, хотя это, конечно же, невозможно. И — опять бегом, чуть не

подпрыгивая, с отвисшей и посиневшей от невероятного напряжения нижней губой, несет черные доски по колдобистой тропинке. Спотыкается, падает с деревянным грохотом наземь... Я готов чуть ли не пнуть ее за это ногой, так мне досадно и жалко бабушку. Она плачет, подымается, кряхтя, я помогаю собрать обломки.

Потом выясняется, что бабушка сломала косточки левой ладони. Кисть руки отекает, болит невыносимо. Бабушка несколько дней бережет ее, потом, преодолевая ноющую боль, начинает разрабатывать захрясший «пирог». Кладет растопыренную ладонь на обеденный стол, мнет ее правой рукой... И надо же! Неделя-другая, и вот уж нет пирога, рука как рука... Что за чудеса?

Или — шла как-то бабушка по Советской, несла в обеих руках сумки с мукой и крупой, поскользнулась, растянулась на асфальте, да к тому же и затылком приложилась хорошенько. Приплелась домой со спутанными и слипшимися от крови волосами. И деловито принялась лечиться... газетами. Помню, намочит их и к затылку приложит, потом еще раз — уж другую порцию.

— Свинец там, Саша, он всю гнилую кровь из ранки оттянет.

Ну... Ладно, обошлось и на этот раз.

А к докторам бабушка никогда не обращалась, и не потому, что чуралась их по каким-то своим

соображениям, а потому что стеснялась отвлекать да загружать людей образованных, занятых важными делами.

Один раз провалилась бабушка в подпол. Как так? А так. Топилась печка, все как обычно, и тут бабушке вдруг что-то срочно понадобилось в подполе — картошка, может. Она раскрыла подпол, а доску на краешек ямы положила. И — забегалась по избе, позабыла про яму отверстую. В общем, наступила на бегу на ту доску вынутую, да и ухнула вниз. Сильно отбила поясницу, еле выкарабкалась из подпола. Потом охала, кровью мочилась, а лицо ее сделалось красным и жарким от высокой температуры.

Я очень тогда испугался, глядя на стонущую в кровати бабушку. Я испугался просто до смерти, до звона в ушах!

— Давай позовем доктора! — кричал я иступленно. — Почему ты не хочешь, бабушка? Не умирай!

— Ни к чему доктора, — твердила бабушка, прихлебывая святую воду и крестясь. — Так, Бог даст, окрия ю.

Окрияю — значит, отойду, выздоровлю.

И окрияла через недельку, снова принялась носиться, как угорелая...

Слово за слово, мы выходим за ворота. Как сейчас я помню эти закаленные ветрами, растрескавшиеся, серые от вековых дождей ворота с тяжеленным засовом, чугунную щеколду... Фигурные крепежные полосы кованых петель, хоть и ржавые, а тыщу лет еще продержатся, ничего с ними не будет.

Оглядываюсь снизу вверх на черные от запекшейся олифы, надтреснутые и скрученные морозами бревна избы. И на окна, обрамленные широченными охряными наличниками, с затейливыми прорезями и завитушками. Это были самые богатые, самые причудливые наличники из всех тех, что сохранились тогда на нашей улице с царских времен. Местами целые куски деревянного узорочья либо сами отломились, либо их обломали «просто так», походя, идущие мимо озорники (бабушка говорила — *о зыри*). Я смотрел на эти окна, а они — молча «зырили» на меня, будто застывшие лица сказочных дедов, с косматыми рыжими бородами и нечесаными прядями волос.

Из домов, что по сторонам и напротив, бабульки уже вывели детвору — ей, детворе, всегда положены были конфеты «на помин души». Я тоже получаю карамельки, реже — «коровки» или ириски, всякий раз — из покрытой бурыми пятнами, чужой и костлявой руки. Слышу:

«Помолись, мальчик, за упокой, тебя боженька послушает». Есть эти конфеты мне не хочется — все чудится, что они перед этим лежали в гробу. Но бабушка гладит по голове, уговаривает: «Кушай, Саша, так положено». Ладно уж, съем ради бабушки.

Бабушка увлечена разговорами со знакомыми по церкви, сошедшими с дороги на тропинку под окнами, чтоб рассказать, как и отчего умерла (или умер) упокойник. Кстати, часто «провожающих» набирали прямо в Александре Невском, после панихиды — из малознакомых и даже совсем незнакомых старух. Потому что вроде как неудобно перед людьми, «*страмотно*», если два-то человека всего идут за гробом. Я так понимаю теперь, что это давали знать о себе те отголоски прежней, дореволюционной еще приходской жизни, когда все, кто ходил молиться в одну какую-то определенную церковь, ощущали себя некой общностью, что ли... Общиной церковной. Короче говоря, «своими» людьми. И умерший тоже был для всех свой.

— Пойдемте на похороны и поминки, — звала старух, замешкавших в церкви после обедни, какая-нибудь юркая бабенка (бабушка называла таких «активистками»).

И старухи шли, конечно — это все-таки было какое-никакое событие, к тому же —

приуготовительное для самих поминальщиц, ведь скоро и по ним будут служить панихиду, пить кисель да жевать кутью... Поминки — это знаменательное происшествие, потом можно рассказать о нем знакомым и родне: как пели на кладбище «Со святыми упокой», как поднесли им блины с медом и водки по чуть-чуть, как потом чинно-благородно развезли на том же «пазике» по домам.

Я прикидываю, как улизнуть от бабушкиного надзора, мне уныло как-то слушать про покойников. Незаметно для бабушки иду вдоль окон, туда, где притулился обветшалый конный двор, хозчасть. Тут — полусгнившие бревенчатые стойла-денники, пахучие скирды отсыревшего сена посреди двора.

То и дело в хозчасть или, наоборот, из хозчасти въезжают-выезжают гнедые лошади, впряженные в телеги. Возница с кнутом, во всепогодной душегрейке и кирзачах, болтает ногами, свешенными сбоку телеги. Иногда рядом с лошадьёю бежит худенький жеребенок и смешно, на бегу, тычется мордочкой в мамино подбрюшьё⁴.

⁴ Эта хозчасть просуществовала до начала 90-х годов, когда было принято решение отправить последних лошадей на «забор крови» для производства лекарств. Тогда в Егорьевске и людям-то есть было особо нечего, старики

Раз в году, ранней весной, лошаденкам был праздник: их чистили до блеска щетками (из их собственного конского волоса) и целую неделю задавали корма чуть поболее, нежели обычно. Чтоб веселей смотрела изможденная рабочая скотинка на мир Божий. Этот праздник назывался «Проводы зимы», когда из наших гужевых лошадей сколачивали диковинные тройки с бубенчиками под дугой, с жаровнями в санях, с ряжеными парнями и девками... Помню, мне было, наверное, лет пять, когда бабушка впервые взяла меня с собой на это гулянье. Ух, здорово там было!

И вот я снова иду к хозчасти, ускользнув от бабушки и чужих теток с их разговорами про упокойника. Поглядываю себе под ноги: не завалилась ли где-нито заветная подкова?

Тогда, летом семидесятого, мы, дошколята, вместе с мальчишками из младших классов, любили играть подковами, свалившимися с копыт возле хозчасти. Это были тяжкие *железяги*, заскорузлые от ржавчины и налипшей грязи с навозом вперемешку.

А бабушка денно и ночью следила из окна, когда же наконец какая-нибудь понурая лошадка,

распродавали возле продуктовых магазинов за гроши последние цепочки и перстеньки. Не до лошадей, в общем, было.

везущая бидоны с пирожками или ящики с пивом, навалит на мостовую дымящегося навоза.

В самой хозчасти навоз давали неохотно, а долго упрашивать бабушка не любила, не умела просто. И даже дядя Витя пособить с навозом не больно-то соглашался. Ему проще было со службы своей караульной соль прихватить лошадиную или опилки, которыми стойла посыпали. И бабушка перестала наведываться в хозчасть и просить навоз, обходилась тем, что время от времени само возникало на дороге перед окнами. Чуть завидит, как лошадь на ходу «серит», так — хватить в подклети особое ведро да совок, и — бегом-бегом, а то грузовик раздавит бурые яблочки, размажет их по асфальту, железным совком потом не отскребешь.

Точно также при мне бабушка тщетно просила отдать ей хоть парочку деревянных ящиков из беленьких шершавых неструганных дощечек, которые сжигали на задворках самого близкого к нам продуктового магазина. Не дали. «Нам велено сжечь, бабка, начальство приказало, — сурово отвечали магазинные грузчики на ее нытье. — Вам только бы дай, всё дай, куркули!»

— Сами вы куркули, нехалюзы, — отвечала бабушка. — Ишь, какой! Сам не ам, и другим не дам! Ешь собака, да не пес! Тьфу!

Очень обиделась тогда бабушка, что записали

ее в куркули. «Жалилась» потом у бассейны тете Даше и тете Марине. Мол, это она-то — куркулиха? Райка — да, уж куркулиха так куркулиха, без подмеса. И вот опять, в который уж раз, возникал удивленный вопрос на сходке жильцов у бассейны: как так вышло, что на Курлы-Мурлы нашей, в старинном и чтущем вековые традиции двадцать восьмом квартале — а нумерация присвоена была еще при Екатерине Второй — взялась эта Райка-куркулиха? Откуда она, из каких краев? А?

Соседки ставили наполненные ведра на землю, начинали вспоминать оживленно, всегда с разногласиями и спорами. Ну, что «Райка нездешняя», из-под Караганды, про то спору никакого быть не могло, про то все знали. Еще девкой приехала на «Вождь пролетариата», устроилась швеей-мотористкой. А уж после войны поселилась у нас по соседству, благо поубивали мужиков из этого высоченного двухэтажного дома на фронте, а старики померли сами. Отдали ей в исполкоме — какой-то хахаль помог, не иначе! — верхнюю большую комнату с кухней, холодными сенями да с уборной, а внизу лютовало, скандалило по причине тесноты (и, главным образом, неудобств ночного общения) разновозрастное семейство Лаптевых.

И неплохо было бы тогда тете Рае замуж выйти, чтобы жилплощадь за собой закрепить, ибо

Лаптевы обитали в полуподвале с земляными полами, и при этом были у них дети малые.

Как при мне рассказывала бабушке сама тетя Рая, шла она в базарный день с базара, картошку несла. Притомилась. Откуда ни возьмись — лошадь рядом с ней шаг свой сбавила, и веселый от выпитого вина возница предложил прокатить на телеге до дому. Клади, мол, свою картошку, пусть лошадь ее «тощит», а ты же не лошадь, чтоб надрываться да пузы риться... Такая вот шуточка «для ради знакомства».

Возницей веселым и был дядя Витя. Через неделю они с тетей Раей расписались, и дядя Витя взялся пить водку с дядей Колей Лаптевым.

— У Витьки маво даже вши в поясе были, когда я его подобрала да отмыла, — проговорила тетя Рая на той посиделке у бабушки. — Не ходил он в баню мыса (мыться — Авт.). Еслиб не я бы, пропал бы мужик.

Вот с тех-то пор и зажила тетя Рая хорошо, дядя Витя по первости пил в меру, а на работу какую-никакую он всегда ходил, не отлынивал. Но Лактиониха (стала тетя Рая Лактионовой, как вышла за дядю Витю) все никак не могла развернуться по-настоящему, все не находила выхода ее тяга к своему хозяйству. Лаптевы мешали: почти весь огород за ними числился, так уж в исполкоме «нарезали», по числу ртов.